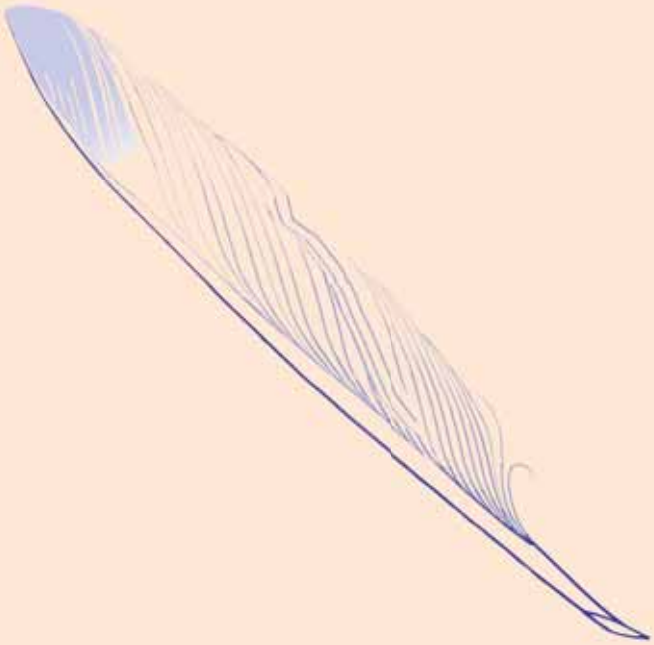
ЛИТЕРА

ЛИТЕРАТУРНО – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



2012/1

ЙОШКАР-ОЛА

Уважаемые читатели!

Перед вами первый номер литературно-художественного журнала «Литера». Без преувеличения, это знаковое событие в культурной жизни нашей республики. Событие, которое поэты, прозаики, драматурги и литературные критики, пишущие на русском языке, многочисленные читатели, интересующиеся литературой, ждали несколько десятилетий.

Когда мне предложили поучаствовать в создании журнала, я сразу согласился. Во-первых, любое приятное знакомство с новыми людьми – это всегда праздник, а во-вторых, каждый любитель слова ощущает острую потребность в свежей литературе. Хороший литературный журнал и становится, как правило, аккумулятором такой литературы.

Идея издания журнала витала давно. Стремительно меняющийся вокруг нас мир диктует новый ритм и образ жизни, приходится считаться с его реалиями. Русский язык на фоне всё более нарастающего потока новых информационных технологий тоже сильно меняется, и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону.

Сохранить язык, сделать его развитие логичным и естественным – наша задача. Когда мы только обсуждали будущую концепцию нового издания, то исходили из того, что оно должно дать возможность всем любителям словесности прикоснуться к живому русскому слову. Это сверхсложная задача, но если мы не решим её, нам будет трудно осознавать, что мы взялись за свое дело.

Я думаю, что вокруг журнала, в его редколлегии, мы сможем объединить настоящую команду творчески одарённых людей, трепетно и беззаветно любящих литературу. Уверен, их креативные идеи, позитивный настрой и желание заниматься нужным делом станут залогом успеха.

Сегодня, несмотря на опережающее развитие электронных изданий, бумажный формат остаётся востребованным у читателей. Пока ещё трудно представить, что прозу или поэзию можно читать, а, главное, понимать и принимать, только сидя у монитора компьютера или держа в руках электронную книгу. Поэтому, я уверен: у журнала есть будущее.

Главный редактор СЕРГЕЙ ЛОСКУТОВ.

ЛИТЕРА

Литературно-художественный журнал Республики Марий Эл

Издаётся с 2012 года № 1 январь-март 2012 года

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР ЛИПАТОВ. **У каждого слова своя Вселенная**.....3

Поэзия и проза

АЛЕВТИНА САГИРОВА. **Приглашаю в дом весенний ветер.** Стихи..... 8

СЕРГЕЙ ШЕЛЕПОВ. **Крест на дороге.** Рассказ.....14

ГЕННАДИЙ СМИРНОВ. **Вспыхнет из мрака ночная звезда.** Стихи..... 27

АЛЕКСАНДРА КАРПОВА. **Это ещё не смерть.** Документальная повесть..... 36

ЕКАТЕРИНА УЛАНОВА. **Гармонии в любви – светлее нет.** Стихи.....81

ЛЕВ ЯТМАНОВ. **Мокрый снег.** Рассказ.....87

ВЯЧЕСЛАВ ПОПОВ. **Про Умного.** Рассказ..... 93

АНАТОЛИЙ ПОДОЛЬСКИЙ. **Дядя Проскурий.** Стихи..... 95

АНАТОЛИЙ СКАЛА. **Коза Манька и дикие гуси.** Рассказ.....98

АЛЕКСАНДР КОКОВИХИН. **Не надо плакать, надо жить...** Стихи.....107

Литературная мысль

ИГОРЬ КАРПОВ. **Внутренний свет Святой Руси** **118**

История и судьбы

СЕРГЕЙ СТАРИКОВ. **Свету! Больше свету!** Александр Котомкин (Савинский). 129

Этюды

ЛЮДМИЛА КУВШИНСКАЯ. **Ресурс исторической памяти.** Альбомы художника Бориса Яковлева 149

Учредитель: Правительство Республики Марий Эл

Издатель: Государственное унитарное казённое предприятие «Марий журнал»

Главный редактор
Сергей Витальевич Лоскутов

Редакционная коллегия:
Васютин Михаил Зиновьевич – заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.
Карпов Игорь Петрович – профессор кафедры русской и зарубежной литературы Марийского государственного университета, доктор филологических наук.
Лоскутов Сергей Витальевич – начальник управления общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл.
Николаев Валерий Владимирович – писатель, член Союза писателей России.
Подольский Анатолий Анатольевич – поэт, член Союза писателей России.
Попов Вячеслав Григорьевич – писатель, член Союза писателей России.
Сагирова Алевтина Александровна – поэтесса, член Союза писателей России.
Стариков Сергей Валентинович – профессор кафедры отечественной истории Марийского государственного университета, доктор исторических наук.
Щеглов Сергей Африканович – редактор журнала «Марийский мир – Марий Сандалык».

Адрес редакции и издателя:
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. 70-летия Вооружённых Сил СССР, д. 20

E-mail
loskutov@gov.mari.ru
afrik60@mail.ru

Автор обложки народный художник России Александр Сергеевич Бакулевский.

Подписано в печать 28.03.2012 г.
Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 10 усл. печ. л.
Тираж 999 экз. Заказ 156.
Отпечатано в Марийском рекламно-издательском полиграфическом предприятии.
424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 8г .

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отклонённые рукописи сохраняются в течение года. Рукописи, присланные по электронной почте, не рассматриваются. Материалы принимаются только в распечатанном виде по адресу редакции.

© Журнал «Литера», 2012.

АЛЕКСАНДР ЛИПАТОВ

У КАЖДОГО СЛОВА СВОЯ ВСЕЛЕННАЯ

Слово о Слове

XXI век – век особенный: он вобрал в себя все боли и радости «железного» XX века. И сегодня он постоянным эхом откликается в каждом из нас и глядит на нас в зеркало Времени. Именно на рубеже веков человечество ступило в эпоху всеобщей интеграции, и в мире заговорили об эпохе глобализации. В этих условиях ни одной стране невозможно замкнуться в пределах становящихся все более проницаемыми государственных границ. Интеграционный процесс захватывает языки и их носителей. Время востребовало сильную языковую личность как мастера слова. Что же касается Слова, то оно-то и выступает воистину властелином Времени.

Расхожей стала сегодня поэтическая фраза: «Поэт у времени в плену». Но все мы в плену не только у времени, но и у слова. Мы повелеваем им, выражая свои мысли, но и оно повелевает нами. И не случайно на Руси издревле говорили: «Слово – стяг: дружину водит». Нет слова без мысли, но и мысли без слова – тоже: они друг дружку держат.

Запальчиво, но очень точно сказал о значении слова американский ритор Фрэнк Снелл: «Мы можем прожить без ракет, прожить без слова – никогда!»

В Древней Руси самой страшной казнью было не отсечение головы, а отрезание языка, тем самым человека лишали речи; его мысль становилась немой и бескрылой. И как тут не вспомнить выразительное четырехстишие американского поэта Дэниэла Уэбстера:

Заберите у меня все, чем я обладаю.
Но оставьте мне единственное – речь.
И скоро я верну всё,
Что мною было утрачено.

Но сильно не всякое слово – а слово красное, как у нас в старину называли такое слово, которое на своих крылах глубину мысли и ее яркость держит. О красном слове говорили с нескрываемой гордостью: «Оно полетно».

Липатов Александр Тихонович родился в 1926 году в Ульяновской области. Доктор филологических наук. Автор 18 книг, изданных в России и за рубежом. Живёт в Йошкар-Оле.

Родное слово... Его звоны всю жизнь откликаются в нас, на каком бы языке мы ни говорили. Оно и наша память, уводящая к родному очагу, к порогу отчего дома, где качалась твоя колыбель. И щемящая мелодия материнской колыбельной песни над твоим изголовьем. И мало приметная березка, что в пору твоего далекого детства заглядывала по утрам в окно... Так память накладывает отпечаток на всю нашу жизнь, создавая наш характер и, если хотите, склад нашего мышления. И потом, на каком бы языке мы ни изъяснялись – на родном или чужом, все равно станем мыслить, думать на том языке, который мы, что называется, впитали в себя с молоком матери.

Хотелось бы продолжить дифирамб Слову и великому языку нашему, да вот нынешняя действительность, смута, в конце XX века обрушившаяся на Россию, заставляют говорить об опасности, грозящей нашему языку...

Нынешнее время – это пора упадка нашей общероссийской культуры, всех национальных культур, сердцевину которых составляет язык народа, создателя культуры. На рубеже XX-XXI веков русский язык вместе с другими языками, словно в зеркале, отразил все сложности нашего трудного времени: в языке, как и в жизни, образовался бизнес разрушения, вседозволенности и коммерциализации. Как и другие языки мира, он подвергается все нарастающей экспансии American English, откуда в нашу речь вторглись «инопланетная» лексика электронно-вычислительных машин и космической техники, «птичий язык» рок-музыки и тяжеловесная терминология менеджмента, раковые метастазы масскультуры. Мутным потоком в нашу речь хлынули слова-чужаки, лишенные присущего русскому языку фоноэстетизма: *ноу-хау, менеджер, мерчендайзер, дистрибьютер, блокбастер, инаугурация* и пр.; в средствах массовой информации (в газетах, на радио и телевидении) мелькают *саммиты* и *имиджи*, *эксклюзивы* и *рейтинги*... И вот уже вместо привычного русскому слуху *подростка* звучит «чужой» *тинэйджер*, а давно и прочно прижившийся *футбол* заменяется *сокером*... Однажды пришлось слышать, как сельская бабуля похвалялась своим товаркам: «О, у моего-то Васяры новое *хобби* заявилось: такие корзинки из лозы плетет – просто загляденье». Понятно: на языке нынешнего радио и телевидения опыта набралась...

Русский язык захлестнула мутная волна лексики уголовного мира и духовного растления. Речь взрослых все больше засоряется жаргонно-арготической лексикой уголовных элементов, а речь молодежи расцвечивается цинизмом и вульгарностью. Нет, не написал бы, пожалуй, сегодня М. Ю. Лермонтов (1814-1841) гордых поэтических слов: «Свободе лишь послушный, не гнется гордый наш язык!» Гнут его – да еще как! И понимаем ли мы всю величину опасности, которая обрушивается на нас вместе с нарастающей в мире глобализацией? Уже сегодня европейские сторонники атлантизма навязывают «Единой Европе» английский язык

в качестве единого «общеевропейского» языка. Нарастает опасность утраты народами России богатейшего этнокультурного наследия, утраты самой связи времен. Губим величайшее богатство наше. И, видать, не случайно у Вадима Шефнера (1915-2002) не из-под пера, а из самого сердца вырвался крик души:

Гаснет устная словесность,
Разговорная краса;
Отступают в неизвестность
Речи русской чудеса.

Все это выдвигает необходимость активной защиты русского языка, его экологии. Экология языка – это в первую очередь осознание его как великого национального и мирового достояния, забота о сохранении его роли как международного языка. Словом, русский язык требует такой же активной защиты, как и сама природа – наша общая человеческая обитель, памятники старины и величайшие творения искусств.

Защита русского языка – это, собственно, и защита всех национальных языков России. Без этого немыслим не только расцвет, но и их сохранение. Раны, наносимые русскому языку, больно отзываются на всех национальных языках: вторжение в них American English ведет к оскудению всех живых языков планеты, они не обогащаются, а обедняются от чрезмерного и неуправляемого наплыва иноязычной лексики, умаляются возможности словотворчества на базе собственных языковых средств.

Так что, хотим этого или нет, все равно придется принимать закон о защите русского языка. Этого требует само время: в стране происходит выдавливание русского языка из жизни общества, закладывается мина замедленного действия под наши великие достояния – науку, культуру, образование, обрекая наши народы на изоляцию и отставание в своем развитии.

Мы должны сохранить и защитить богатое российское многоцветье национальных языков, русский язык как надежное средство межнационального общения на всей территории России; не утратил русский язык этих важных функций и в нынешнем Содружестве независимых государств. Правда, после распада Советского Союза националистически настроенные силы, перечеркивая былые тесные связи между всеми народами страны, стали разрывать межгосударственные, экономические и культурные отношения, а русский язык был низведен до положения *Lingua non grata* (языка нежелательного); начался открытый геноцид и унижение русскоязычного населения. Так, на Украине, где 54% населения считают русский язык своим, родным языком, во времена «незалежности», а особенно при президенте В. Ющенко, количество русских школ сократилось более чем на три четверти, а в Киеве из 157 школ преподавание на русском языке ведется только в восьми! И это в то время, когда в быту большинство киевлян говорят по-русски! В западных же

областях Украины обучение на русском языке прекращено вовсе. А в Туркмении из-за введения обязательного государственного экзамена по туркменскому языку в вузы страны в позапрошлом году было принято всего 18 русских студентов, а в минувшем – и того меньше. Почти полностью ликвидирована система обучения на русском языке в странах Балтии. Унижение чужого языка – вещь страшная. Вот всего лишь один образчик высказываний нынешних украинских русофобов: *Російська мова – це мова-отрута* («Русский язык – это язык-отрава»). А в ряде стран вовсю стараются вытравить из речевого обихода даже слово *спутник*, вошедшее во все языки мира. Так, у казахов это уже не *спутник*, а «быстробегатель», а у монголов он – «бесколесная арба, заброшенная за облака».

Да что там! Происходит покушение даже на основы основ русского языка – его грамматику: делаются уступки даже самым неразумным требованиям отнюдь не грамматистов, а власть предержащим, для коих чужой язык, что своя вотчина: что хочу – то и ворочу!

Известно, что в русском языке не принято в именах собственных отмечать на письме конечные сдвоенные согласные. Два века никому и в голову не приходило немецкую фамилию *Herrmann* писать как *Германн*. Но в 90-е годы прошлого столетия, в горбачевскую пору, эстонские экстремисты потребовали, чтобы и в русском языке название их столицы писалось с удвоением согласного на конце – *Таллинн*, как и в эстонском (*Tallinn*). И наши власти уступили такому диктату, хотя это и чуждо нашей грамматике, и русскому вокализму – тоже.

А затем – пошло-поехало! Термину *Молдавия* уже не одна сотня лет. А теперь нет, будьте добры, россияне, пишите и говорите *Молдова*: такде потребовали бывшие братья по Советскому Союзу. Тогда уж не *молдаванин*, а *молдовец* или *молдованин* говорить и писать нам скоро прикажут. И уж совсем ни в какие сани не влезает то, что потребовали от нас «сябры»-белорусы: пишите-де название нашей державы не *Белоруссия*, а *Беларусь*. Казалось бы, не хотите быть *Белоруссией* – станьте *Белорусью*: ведь русский язык не знает соединительной гласной «а» в двукорневых словах. Нет, настаивают «сябры», нам законы не писаны: подавай нам *Беларусь* – и все тут!

Или еще. Со времен Екатерины II (1729-1796) прочно закрепилось в нашем языке слово-термин *киргиз*. А теперь, хочешь не хочешь, – русской вокализации вопреки, да и логике разума тоже – язык сломаешь, пока выговоришь не по-русски звучащий *Кыргызстан*.

А в нынешней Украине при президенте В. Ющенко русофобски настроенные грамматисты придумали – хотите верьте, хотите нет – просто уму непостижимо: согласно их «повелению» надлежит «усі російські призвища перекладати на українську мову»; так что русский *Воробьев* должен будет носить фамилию *Горобець*, *Кузнецов* стань *Ковалем*, *Расторопный* – *Швідким*. Случись это, нашего великого *Пушкина* переина-

чат в *Гарматенко* (ведь по-украински *гармата* – это «пушка»). Чего доброго, коли поляки с болгарами задумают пойти по стопам украинских русофобов, то в Польше наш *Пушкин* станет *Дзялевским*, а в Болгарии *Тъпчиевым*, поскольку по-польски *dzia o*, а по-болгарски *тъпча*, что досталась болгарам от турков в пору многовекового Османского ига, тоже означает «пушка».

А нужно лишь одно условие: не совершать насилия над языком, какому бы народу он ни принадлежал – большому или малому. У нас, в Марий Эл, звучит речь марийская, русская, татарская, чувашская, удмуртская... Только в одной Йошкар-Оле слышится речь более чем на 40 языках, и в каждом – звоны родного слова. Так пусть всем им «нежный вкус родимой речи так чисто губы холодит» (Б. Ахмадулина).

Мы все на русской земле так же неделимы, как небо над головой: врозь мы бессильны, в многообразии языков и культур – наша сила. Ибо у нас одна судьба. Одна общая для всех нас – Россия.

И мы должны, обязаны отстоять от всех нынешних напастей его, наше чудо – Слово, отстоять нашу речь от обеднения и замутнения обсценным шлаком. Воистину само Время рокочет славу Русскому Слову, ибо бессмертно оно, как бессмертен сам его носитель – народ.

АЛЕВТИНА САГИРОВА

ПРИГЛАШАЮ В ДОМ ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР

Ах, зима!

Ах, зима! На любовные встречи с тобой
Не пускают дела и заботы,
И снежинки твои ловит кто-то другой,
Чья душа в бесконечном полете.
И, увы, не моя прочертила лыжня
В снежных искрах лесную поляну.
Снегириную стайку спугнула не я,
Куст калины задевши случайно.
И не я, словно птица, парю над землей,
Озирая пространства безбрежье,
И не я выбегаю из жаркой парной
И ныряю в объятия снежные.
Ах, зима! Я любуюсь тобой из окна
И глотаю твой воздух из форточки,
И читаю ночами, когда не до сна,
Твои письма на стеклах узорчатых.

***

Лето ярким мелькнуло мгновением,
Утекло, как сквозь пальцы вода.
Стало небо свинцовым к Успению,
И нежданно пришли холода.
Разноцветные астр аксельбанты
Для прощанья готовы вполне,
Лук сплетен в золотые гирлянды
И трофеем висит на стене.
Где-то осени мчится карета:
К погребенью готов саркофаг,
Потому в пору августа лето
Замедляет стремительный шаг.

Сагирова Алевтина Александровна родилась в 1954 году в Кировской области. Автор 4 поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в п. Советский.

Медленный снег

В.М.

Этот медленный снег
Лечит душу твою от печали
И, целуя в глаза,
Снова учит любить и прощать.
И внимают ему
Даже те, кто от жизни устали,
И особенно те,
Кто душой не желает устать.

Этот медленный снег
Словно пух из небесной перины,
Им обласкан любой,
Даже самый ничтожный предмет,
Этот медленный снег –
Он свидетельство миру о Сыне,
Что явился однажды
И стал ему Радость и Свет.

Этот медленный снег
Укрывает родные могилы,
Что, как свежие раны,
На теле родимой земли.
Этот медленный снег –
Он источник целительной силы,
Если сердце живых
Нестерпимо от горя болит.

Этот медленный снег –
Он нисходит к нам,
Нас возвышая,
Исцеляет тоску
Неземною своей красотой.
И так хочется жить,
Всех жалея, любя и прощая,
И сиять чистотой,
И небесной дышать тишиной...

Зарастает родина лесами

Зарастает родина лесами:
На полях подросток-березняк
Резво к солнцу тянется ветвями –
Не остановить его никак.
Наши предки были прозорливы,
Забирая пашню у лесов,
Потому и колосились нивы,
И вертелось мельниц колесо.

И деревни множились без счета,
А когда придут лихие дни,
Сыновей для армии и флота
Отдавали Родине они.
Повидали многое на свете,
Пережили радости и страх,
Где они теперь, деревни эти,
С белыми церквами на холмах?

С тишиной печальною погостов,
С добрыми крылами ветряков?
Словно море, березняк-подросток –
Не найти ни знаков, ни следов.
...Жили-были, сеяли пшеницу,
Засыпали зерна в закрома,
Хлебушком кормили заграницу,
Надо понимать – не задарма.

Зарастает родина лесами,
Скоро сосны небо подопрут.
Будут наши правнуки с дровами,
С ягодами будут и грибами,
А за хлебом по миру пойдут?

***

В Божьем храме свечи теплятся
И курится фимиам,
А в миру болится-терпится
И больница – Божий храм.
Всюду пропасти бездонные,
Не живет в сердцах любовь,
Плачут души, изъязвленные
Злыми стрелами грехов.
Оступаемся и падаем,
Одежонка вся в грязи,
Ныне встали неприглядные,
Молим: «Боже, помози!»
Быть хотим немедля счастливы,
А душа-то – нечиста,
Но с любовью и участием
Бог глядит на нас с Креста.
Рядом Мать Его Пречистая
Взглядом кротким говорит:
«Есть одно лекарство – исповедь,
Если совесть заболит».

Приглашаю в дом весенний ветер

Приглашаю в дом весенний ветер,
Пусть резвится и качает люстры,
Домочадцев вылечит от грусти,
Обещая радостные вести.
Он не сядет на диванчик чинно
Полистать семейные альбомы,
А промчится молнией по дому,
Опрокинув чашку «капуччино»,
Пыль стряхнув с забытой кем-то книги,
К потолку подбросив занавеску
И разбив хрустальную подвеску,
Поиграет в солнечные блики.
Эти звуки, эти светотени
Вдруг изменят кривизну пространства,
Чтоб в прекрасном будущем остаться.
Приглашаю в дом весенний ветер!

Колыбельная

Лунный свет рекой по крышам,
Капельками – в дом.
Ветерок тихонько дышит
За ночным окном.

Ветерок тихонько дышит,
Занавесочку колышет,
Как котенок, место ищет,
Чтоб забыться сном.

Сон и дрема бродят вместе
У моих ворот.
Снова день сгорел берестой
На костре забот.

Снова день сгорел берестой,
Что же завтра – неизвестно,
Может, слезы, может, песня,
Может, счастье ждет.

Хорошо бы каплей счастья
Душу осиять,
Стать светлее в одночасье
И добрее стать.

Стать светлее в одночасье,
Словно в храме от причастья,
И, предавшись Божьей власти,
День прожить опять.

Зло забыть, простить обиды,
Пожалеть врага,
Свет любви во мгле увидеть,
Мрак души прогнать.

Да поможет Вседержитель
Свет любви во мгле увидеть,
Разучиться ненавидеть,
Разучиться лгать.

***

Неразлучны звезды и небо,
Потому временами надо
На балконах торчать нелепо
И ночною дышать прохладой.
И, жалея легко, не грустно,
Что балкон, увы, не кораблик,
Принимать сорок пятым чувством
Позывные других галактик.

***

По ватной, стерильной, холодной земле
Иду я навстречу весне синеокой.
По белым полотнам уснувших полей,
По льдистому зеркалу зимних морей
Иду я далеко-далеко.

Туда направляю я мысленный взор,
Где солнцем обласкан и зелен угор,
Где рощица в дымке зеленой,
Где пашня дымится и дышит теплом,
Где смотрит на солнце
родительский дом,
Объятый весенней истомой.

Иду, а морозец накинул вуаль
На каждую божью былинку.
И чу! На шаги отзывается даль,
Холодная, звездная, ясная даль,
В которой я только пылинка.
Всего лишь пылинка любимой земли,
И где бы меня ни носило,
Хочу, чтоб дороги туда привели,
Где незабудки у речки цвели,
Где сердце от счастья щемило.

СЕРГЕЙ ШЕЛЕПОВ

КРЕСТ НА ДОРОГЕ

Рассказ

Дороге этой больше двадцати лет. Когда-то была она прямой да ровной и, перекатываясь с бугра на бугор, рассекала ухоженные поля да редкие овраги, на крутых боках которых ютились небольшие перелески, напоминающие в плане «зубы» былинного чудища, пытающегося перекусить асфальтовую ленту.

Время, однако, перемалывало и меняло многое. Поля заросли березняком; лесовые «зубы» потеряли свою былую остроту и, распластавшись вширь, превратились в тихих стражников доходяжного пути. Ведь ежегодные инъекции «ямочного ремонта» не спасали от разрушения асфальтовое покрытие. Но даже такая – раскрашенная заплатами и прорехами – дорога по-прежнему половинила одичавшее пространство ниточкой жизни, по которой нет-нет да и проковыляет жигулёнок или даже выпишет несчитанное количество замысловатых колен эффектная иномарка.

Странник на дороге — редкость. Раньше, когда машин было мало, пройти полсотни километров от города по силам было многим. Выходил странник из города с надеждой, что подберёт его попутка, а той не оказывалось – вот и прошлепает весь путь за ночь. Ныне всё по-иному. Во-первых, ходить люди не разлюбили; а во-вторых, машин больше стало. Правда, и отношение водителей к пешестранствующим изменилось: не проголосует человек, так и мысли не придет шофёру остановиться и спросить, не подвезти ли, мол?

Всё же и на этой пустынной дороге появлялся идущий человек. Чаще грибник или ягодник, который проведал свои «заветные» места в одном месте и, не найдя там нужное, решил перейти на другое «злачное» местечко.

В июне этого года тоже появился на дороге странствующий человек. Доехал он до конечной остановки на утреннем автобусе, вышел из него и, никуда не заходя, направился в обратную сторону. Шёл человек не торопясь, будто осматривался. Не было у него в руках ни корзинки, ни пластмассового ведёрка, что позволило бы сразу отнести его к грибникам.

Шелепов Сергей Евгеньевич родился в 1955 году в Свердловской области. Автор 2 книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Йошкар-Оле.

Вроде и возраст у него самый грибниковский: за шестьдесят. А в этом возрасте, когда еще есть немного сил у человека после трудового века, он и старается походить вольно по земелюшке, чтоб насладиться напоследок её видами во все времена года.

Верно, и этот таков. Первый слой ранних грибов прошёл, земляника еще не вызрела. Знать, просто отправился мужик прогуляться, чтоб послушать птичье многоголосье раннего лета.

Предполагай не предполагай, а странник уже отошёл с километр от посёлка. Брёл себе неспешно по травянистой обочине и будто вслушивался в звуки, заполняющие пространство между двумя полосами деревьев, растущих вдоль тракта. Да и было что послушать после городской маяты и шума да гама базарного. Такой перезвон стоял в преддверии доброго дня, что невольно вспоминаются слова песни, в которой «... пень берёзкой снова стать мечтает».

Саню Манина по фамилии Воробьёв коробило от сказки про Змея Горыныча. Лет двадцать крутилась она в его голове странной и нудной канителью. Не вдруг, конечно, случилось такое, что прилипла к мужику такая странная «болесть», да и название этой «сказкофобии» вряд ли придумано. Однако привязалась нелёгкая и не отшить её никакими зельями да заговорами. Да и не пытался Саня это сделать – ведь всякий несёт свою боль, как ношу, и уживается с нею.

В детстве, когда слышал эту сказку от матки в редкие минуты ладного её настроения, лишь сердце сладко обмирало от обличья и дел Змеевых, но в конце сказки всегда побеждало доброе, нахлынувшая оторопь отступала и возвращалась тихая радость младенчества.

Со временем забылись сказки, отступили страхи детские. Другие картины открылись взору, другие дела увлекли в жизнь долгую. После армии устроился работать каменщиком в СМУ, на разряд высокий сдал. Женился, отгуляв положенный срок молодечества. Жена Нина — из детдомовских: ни отца, ни матери у неё нет. Ну и что? У него самого, кроме матери, не дождавшейся с войны мужа, тоже никого. Саня же родился уже через год после Победы, и кто из деревенских либо залётных мужиков его отец, он так и не узнал.

Когда и мать умерла, совсем в сиротском происхождении сравнялись Нина и Саня. Зато через полгода родилась у Воробьёвых дочка. Юлией назвали её.

Когда Юля подросла и стала приставать к отцу, чтоб рассказал сказку, Саня и выудил из памяти сказку о Змее Горыныче. Во времена его детства телевизоров не было, только радио вещало для всех и обо всём сразу: для детей сказку в несколько минут, для взрослых — концерты да постановки разных спектаклей по нескольку часов. Малышне же хотелось слушать истории часами, вот и приходилось нянькам плести свою вязь былинных историй.

Саня помнил, как мать часто сбивалась и забывала нить повествования, но Саня это течение истории схватывал намертво и уже сам подсказывал матери, куда ей править сказочную вожжу.

Вспомнил Саня отрывки тех выдуманных вместе с матерью сказок и стал дочери их пересказывать, сдабривая их уже современными картинами. То у него Змей с истребителем бился в небе, то лес поджигал в сухую пору и противостояли пожарные чудищу. Но чаще в сказках всё же старинное всплывало. Особенно жутко получалось у Сани описание того, как Горыныч девок молодых да красивых в свои пещеры утаскивал. Такого наворачивал в своих россказнях, что и самому становилось не по себе, а уж Юлька и вовсе мешалась разумишком.

Глазёнки вытаращит и вопрошает:

— А когда оно прилетит за мной, ты, папка, меня ведь не отдашь? – и смотрит на отца так, что того слезливость прошибает.

— Нет, конечно, Юленька. Как же можно, чтобы батько свою дочь не защитил-не оборонил? Да и не прилетит он к нам, чё ему у нас-то взять...

Успокоится вроде дочь, но другое начинает её донимать:

— А если он за мной не полетит, значит, я некрасивая?

Совсем смешается в мыслях Саня, начнёт Юльке красу её описывать, но не получается это у него. Путается, краснеет, а себе объяснение находит: «Красу описать, не жути нагнать – тут талант художника нужен. А из меня какой художник?» Оправдываться начинает да дела придумывать разные, чтоб от дочкиных расспросов уйти. А когда уж и дел не может придумать, то зовёт дочь телевизор посмотреть, мол, фильм хороший будет.

До самых школьных Юлькиных лет Змей Горыныч был частым гостем в вечерних беседах Сани с дочерью. Нина в это время на кухне гоношилась и в досужую болтовню мужа и дочери не вникала. Да ещё и радовалась, что не таращится её муженёк в телевизор, как все мужики, а «дочерью занимается».

И как не радоваться Нине? Родителей не знала-не помнила, а тут счастье — муж непьющий да добрый, обходительный. На работе его ценили да уважали: то грамотой отметят, то премией к празднику. А квартиру какую дали?! На зависть! Третий этаж. Просторная, тёплая. Лоджия с комнату целую. На машину стали деньги копить, чтоб в деревню, где после смерти Саниной матери домишко остался, не пешком пять километров топать, а, «как праским людям», на собственных жигулях.

Люди дачи себе заводят в самых неудобьях, чтоб довесок огородный к зарплате иметь, а у них не дачный скворечник — деревенская изба и земли не шесть соток — целых тридцать. Есть где отдохнуть в выходные дни, будет и старость где встретить — в тихой деревенской избе, да ещё на берегу малой речушки.

Всё складно да ладно было в семье Воробьёвых до того, как Юлия школу закончила. Хорошо отучилась девка. И экзамены сдала успешно,

и в институт поступать наметила. «Отдохну недельку, — сказала родителям, — и снова за учебники засяду».

Нина даже поохала: вот, дескать, наука-то каково даётся. Сама же довольна — всё как у людей у них складывалось: и дом не сиротский, и дочь на инженера выучится, Бог даст, что еще надо?

Не случилось. Утащил Юленьку Воробьёву Змей Горыныч, да так далеко, что и весточке родителям не долететь. И батько не отбил от супостата дочь свою, как обещал когда-то.

Пошла Юлия с подругой Любанькой вечером на танцы и пропала. Под утро, не дождавшись дочери, побежал Саня в милицию о пропаже Юлии заявить. Там отмахнулись от него: дескать, девка молодая и гуляет себе где-нибудь с парнем, а вы бегаете, будто сами не были молодыми.

Понедельник. Люди уж на работу давно прошли: кто к восьми, кто к девяти, а Юлия не идёт домой. К Любаньке побежал Саня. Та еще не проснулась. Растолкала её мать и выспрашивает про Юлию, а та отмахивается от родительницы и отца подруги: «А я почём знаю...». Всё же заставили девку проснуться. Но ничего толком не выяснили. Любанька со своим парнем с полчаса побыли на танцах и ушли, а Юлька осталась.

Долго искали девку. Даже всесоюзный розыск объявили – может, снесло молодую башку любовью-молнией да унесло в неизвестные далиреси, неотёсанную. Всё бесполезно, будто и впрямь Змей Горыныч уволок Юлию в свою берлогу и держит там в неволе, а, может, и со свету сжил уже.

Саня с Ниной поседели враз, стариками вдруг сделались будто. Друг друга, как могли, успокаивали: мол, убежала девчонка с кавалером, но придёт в себя от любовного дурману и непременно объявится. Однако время шло, пора бы уж тому дурману из головы выветриться.

Вспомнить о родителях беглянке надо уж, но молчит. Само и напрашивается: неживая дочь их, но разве согласятся с этим какие родители?

Как на работу приходит мужик, чтобы на первый автобус попасть. Сядет на заднее сиденье, чтоб обособиться как-то от людского любопытства, и едет, ни с кем в разговор не вступая. До того места, где накануне в последний автобус сел, доедет, попросит водителя остановиться, буркнув себе под нос благодарственное слово, и выйдет торопко.

Так за три дня и прошёл всё расстояние до города: пятьдесят с лишним километров. Кто? Зачем ездил и ходил по дороге мужик – для пассажиров и водителя загадка. На праздногуляющего пенсионера, который решил походить пешком в компенсацию за долгое сидение в кабинетах, не похож. Руки у мужика не писарством заняты были: сучковатые, проослевшие от морозов и сырости, как и лицо. Спросить бы, но как? Никто не решался, уж очень отрешённо смотрел странный пассажир на мир, будто из какого-то подполу сквозь узкую щелку. Очень смурён мужик – как подъехать к такому со словесной докукой? В глазах его такая стылость и бездонность, от которых не по себе делалось. Будто нестерпимая боль донимала мужика,

будто живому ему пятки на огне подпаливали, а он крепится и муку скрыть от людей пытается.

Водители, что меняли через день друг друга и уже знали о странностях пассажира, думали, что, дойдя пешком до города, он успокоится и больше не будет совершать странных вояжей. Ан нет. Через день он уже встретил вечерний автобус на пятнадцатом километре дороги и на нём в город вернулся.

Неладное с мужиком творилось. Ох, неладное! Водитель, который привёз мужика в тот день в город, хотел психиатру позвонить в поликлинику, но после этого рейса выходные дни следовали. Потому не до психов и психиатров ему. Он просто запил на пару дней, но сменщику всё же успел рассказать о странном путнике, который уже в обратном направлении путешествует с непонятной целью.

Террористом странник не мог быть: не та это дорога, которую взрывать нужно. Лет пять—десять её не ремонтировать капитально, так она сама расползётся без всяких взрывов.

На следующий день и вовсе чудное приключилось. Утром мужик сошёл с автобуса на пятнадцатом километре, добрёл за день до двадцать седьмого и сел на обочине. Да и просидел недвижимо больше двух часов.

Когда из города ехал автобус, водитель отметил, что сидит странный мужик на обочине. Еще и посочувствовал про себя: «Упехтался, бедолага...» Возвращался через два часа в город, а мужик на том же месте, в той же позе пребывает.

Автобус остановился: мало ли что случилось с человеком. Для начала шофёр посигналить решил – может, закемарил мужичок. Подействовало. Странник, сидящий на обочине, вздрогнул, обернулся и махнул рукой: мол, езжайте дальше.

— Хозяин — барин, — проворчал шофёр, скорость переключил, газку добавил чуть лишка, на секунду поддавшись раздражению, проехал мимо чудика и еще подумать успел: «Попуток много сейчас. Если чё, так доберётся», – как бы извиняясь за вспыхнувшее неудовольствие.

Чудик попутку искать не стал, а так и просидел до утра.

Автобус уж снова из города едет по маршруту, а он всё сидит, с места не сдвинулся. У водителя холодок по спине пробежал. Ему накануне сменщик по-соседски рассказал о странностях блуждающего по дороге мужика: «Не подобрал вчера его, вражонок, а седни околел мужик». Остановился, из автобуса вышел. К сидящему, шаг сдерживая, подошёл, за плечо тронул. Тот оглянулся.

— Ну, слава Богу! Жив! — обрадованно воскликнул водитель автобуса.

— Жив. А чё мне сделается? — как ни в чём не бывало ответил сиделец.

— Так это... – смешался шофёр. – Всю ночь ведь сидел.

— Сидел.

— Так в город-то не поедешь, ли чё?

Странник поднялся и к автобусу направился, но остановился, недоумённо оглянувшись на водителя:

— Ак вы чё, из города едете?

— А откель же?

— Да? Так это… Я посижу, а на обратном пути сяду, — сказал и снова к обочине повернул, на ходу сетуя на что-то: — Время-то как бежит.

Шофёр услыхал последние слова. К чему сказаны — не понял. Лишь указательный палец к уху поднёс. Рукой махнул и в автобус заскочил.

На обратном пути странник сел в автобус. Из пассажиров он был один, если не считать мужика на заднем сиденье, который пьяно мотылялся и каждый раз матерился себе под нос, когда уж очень сильно подкидывало автобус на ухабах. Уселся странник на переднем сиденье и даже заговорил с водителем о погоде. Затем про футбол спросил: закончился ли чемпионат Европы и как наши там себя проявили. Шофёр был заядлым болельщиком и до города расхваливал «голландского Гуся», который сделал из наших оглоедов команду такую, что те чуть было всех не обыграли…

Безнадёга и горечь прочно обосновались в квартире Воробьёвых. За что же вновь кинула их судьба в забывающееся уже сиротство? Милиция давно ничего по их делу не предпринимала: лишь отмахивается от обращений несчастной семьи. Всесоюзный розыск молчал. Одно предложение лишь услыхали они: подавайте в суд, чтобы признали дочь погибшей. Но разве на такое мог согласиться кто, чтоб высуживать смертную бумажку? Нет, конечно.

Сковала боль душу и разум Сани. Бывало, забудется в работе, даже шуткой обменяется с мужиками, а как с работы идти, так и снова будто обручем сдавливает голову, а тисками — сердце. Возвращался однажды в таком состоянии домой после трудовой смены, через улицу стал переходить и вдруг — скрип тормозов и сигнал услыхал слева от себя. Отпрянул от неожиданности обратно на тротуар, а мимо него, фыркнув солярной вонью в лицо, «Урал» проехал. Не быстро машина катила. Улица узкая, вся в ухабах – не разгонишься. Поэтому и успел водитель притормозить.

Глянул Саня вслед уезжающему «Уралу», перевозившему солдат-строителей автодороги, матюгнулся, как полагается, да ещё и проговорил, притворно плюнув в сторону уезжавшей машины:

— Тьфу ты, змей…

Улицу перешёл, а последние слова из памяти не выходят — так и колотятся внутри черепной коробки в такт шагам: «Змей-змей… Змей-змей…» Вдруг остановился Саня, повернулся в сторону, куда «Урал» уехал, а того уж и след простыл. Но не машину хотел видеть Воробьёв, а цвет и обличье «Уралово» представил и будто разглядеть пожелал лишь кое-какие подробности тёмно-зелёного чудища.

— Змей… Вот он, Змей-то…

Какого змея имел в виду, не сразу, но сообразил. Вдруг в жар кинуло Саню Манина от какого-то видения: «Да это же и есть Змей Горыныч! Который Юленьку нашу уташшил…»

Встал как вкопанный посреди тротуара, что прохожие обходить его стали, косясь, как на пьяного. А Саня трезв как стёклышко. Он лишь в уме все факты известные ему и связанные с пропажей Юлии в голове пытался в одну линейку выстроить. Первый факт: ходили слухи, что солдаты, строящие дорогу и вечерами оставляемые без начальственного призору, охальничают всяко разно. И с девками очень необходительно, слыхать, поступали. Насильничали, а потом неживых или полуживых в полотно дороги закопают, да потом ещё и асфальтом то место закатают.

Невмоготу стало Сане от такого открытия, но на следующий день всё же попросил отгул и в милицию отправился, чтоб поведать следователям о сделанном открытии. Его выслушали да скоренько выпроводили: мол, сказки всё это. Да ещё и добавили, что такие дела военная прокуратура рассматривает, а не гражданская милиция.

Саня и в военную прокуратуру заявление написал, как его подучили умные мужики. Но и оттуда пришёл сухой и ничего не значащий ответ. Дескать, «факты не подтвердились», а пропажей Воробьёвой Юлии Александровны они заниматься не могут, потому что она не военнослужащая.

Кругом тупик, тёмный тупик, но жизнь продолжалась. О своём открытии да последующих хождениях Саня жене не рассказывал – зачем расстраивать пустыми отписками да отговорками. Когда же Нина сама, наслушавшись баб, стала ему описывать страхи, связанные с пропажей девок, которых насилуют и убивают солдаты, Воробьёв на смех поднял жену, прочитав ей целую лекцию о «высоком духе и моральном облике советского воина», будто старый и закалённый политработник.

В муках душевных прожили супруги уже более двух десятков лет, и Саня, глядя на жену, понял, что согласилась с ним Нина лишь для того, чтоб его успокоить. Так и перемогали дальше, успокаивая друг друга и выдумывая всякие фантастические идеи да предположения о возможном местонахождении дочери. При этом каждый понимал никчемность и пустельгу домыслов.

Со временем Саня ещё больше уверился в своём предположении, кто этот «Змей Горыныч», утащивший их дочь, когда вспомнил рассказ Любаньки – подруги Юлии – о тех танцах, после которых пропала его дочь. Любанька тогда поведала сумбурно, что в начале танцев Юлию приглашал какой-то солдатик. Был он пьян, и, получалось, девка ему отказала. Тот вроде отстал. «А отстал ли?» — естественный вопрос возник в голове Сани, да так и засел ржавым шпиглем в ней. А к тому шпиглю еще один добавился: обещание маленькой Юлечке защитить, коли нападёт на неё Змей Горыныч. «Вот ведь как получилось! Не уберёг, не оборонил…» — корил себя Саня.

Изводила-изводила горечь-печаль семью Воробьёвых и свела-таки в могилу Нину. Можно ли дальше муку такую терпеть? Померла тихо. Пожаловалась, что в груди нехорошо и жжёт, а после сознание потеряла. Приехала «скорая» быстро, но что могли сделать земные врачеватели,

коли душе смерть спасением от мук кажется? Насильно убить можно, а вот заставить жить нельзя.

Остался Саня бедовать на пару со своим сиротством. Пенсию оформил, квартиру сдал, а сам переселился в деревенский домишко, оставшийся ему от матери. В доме своём — не в квартире, где будто в заточении живешь – полегче. Летом огородом да разными работами по хозяйству занимался. Зимой тоже не сидел сиднем у телевизора: надо и печь протопить, и снег от дома откидать, чтобы тропинка к нему житность означила.

В годовую по Нине пришёл Саня Манин на кладбище. На лавочке сел и мысленно будто разговор с ней затеял. О делах своих домашних поведал, о житье своём вдовца, дескать, дел домашних освоил множество: и щи, когда охота появится горяченького похлебать, сгоношит; и постирает исподнее свое да подошьёт, коли где по швам одежонка пойдёт. И наконец, поделился с ней планом: квартиру продаст за ненадобностью – всё равно уж в ней не жить ни ему, ни кому из родни – нет последних.

На деньги, что получит от продажи, поставит памятники и Нине, и Юлии: нет уж её, что лукавить-то перед собой да умершей женой. Вокруг памятников установит оградку чугунную, чтоб на долгие годы означила она последний приют дорогих ему людей, чтоб было всё знатно и красиво – как у артистов каких или чинов больших.

Про памятник-то заикнулся и будто вопрос услыхал, Ниной произнесённый: «Юленьку-то найти сперва надоть...» «Надо...» – согласился и замолк, обдумывая услышанное и перебирая мысленно, куда он уже обращался по вопросу поисков дочери и куда бы еще сунуться со своей нуждой. Получалось, что во все двери уже стучался. «Ан нет! — вдруг осенило. — Деньжишш-то прорву за квартиру выручу. Детектива найму на поиск, как это в телевизоре показывают кажный день...» Стал соображать, где те детективы обретаются. В их городке вроде не завелись ещё таковые, а откуда-то вызывать, пожалуй, накладно будет. Остыл немного от вспыхнувшей идеи, да ещё и подумал, что приезжие не больно и охочи до поисков будут. «Деньги возьмут, а дело не сладят», — вынес Саня «приговор» невызванным детективщикам.

Сидит совершенно растерянный на лавочке и на фотографию жены смотрит невидяще. Дело к вечеру уж.

— Пойду я, Нина... — и встал.

Обогнул оградку соседних могил, глянул зачем-то вверх на берёзу со сломанной верхушкой. Снова к могиле Нины обернулся и уже не просительно и жалобно, а решительно и твёрдо проговорил:

— Пойду... — а покуда дошёл до своего дома, понял, куда он «пойдёт».

Отправится он по той самой проклятущей дороге, под асфальтом которой Змей Горыныч своих истерзанных жертв прятал, чтобы подозрения от себя отвести, чтобы «не было дела, коли нет тела», чтобы маску добродетели с него не сорвали люди. А то ведь в сказках-то он вроде и не так страшен,

да и наяву-то дорогу людям подарил, которая захолустный мир живым как будто сделала — чего не отнять, того не отнять. Так и это понятно — у Змея голов-то много. В одной гадкое заводилось, а отвечать всему Горынычу.

Через две недели, разделавшись полностью с огородными делами, и «пошёл» Саня Манин по фамилии Воробьёв. В первый день доехал на первом утреннем автобусе до конечной станции, вышел из него. Огляделся и в обратную сторону побрёл. Легко шагалось под птичью многоголосицу, в которой пытался расслышать Саня звук Юленькиной души. Но уж очень заливисто щебетало пернатое войско, радуясь расцветающему летнему благолепью, и, как ни напрягал слух путник, ничего не мог уловить среди этого гама.

За три дня весь путь до города проделал, но так и не услышал нужного голоса, нужных звуков.

«Знать, не с того конца взялся...» — решил Саня и, отдохнув пару дней да управившись с неотложными домашними делами, снова отправился на нелепые свои поиски. Рассудил при этом так, что везли Юлию из города, значит, и ему надо ладить путь в том же направлении.

Путь от города был иным, потому что сквозь птичий гомон, разрывая гул проносящихся машин, доносились до Сани то будто стоны и мольбы далёкие, то ругань и похабщина пьяная. Только слов не мог он разобрать, но уже понял, кого он слышит — стоны и мольбы Юленьки, а бубнящая да рокочущая ругань, похожая временами на скрежет, — внутриутробные звуки Горыныча.

Тяжко идти, слушая потустороннее это многоголосье, но Воробьёв шагал и шагал. Сердце иногда начинало надрывно колотиться, тогда он присаживался на обочину. Но сидеть долго не мог: пронзающие душу отголоски мольбы «И-и-и....» поднимали его и будто подталкивали в спину.

Так и двигался, будто упирающийся бычок: сзади тычки, спереди подманивают и травят сладким. И вдруг остановился! Хочет шаг сделать, но нога лишь поднимется и на то же место ступает, где пред тем была. Дыхание перехватывает, будто буря врывается в открытый рот, раздувая, как детский шарик, лёгкие. Присел на травку. Подождал, думая, что снова его погонит нелегкая. Но странное произошло — все звуки неземные куда-то исчезли и в спину никто не подталкивает.

«Опять мимо пронесло», — решил Саня и вставать начал, чтоб вернуться да снова пройти последнюю версту, уже внимательней вслушиваясь в слышимые призывы из потусторонности.

Ещё и спину не выпрямил, как услышал стон страшный. Снова сел от неожиданности, пот на лбу выступил. Прислушался, но, кроме птичьих, иных звуков и голосов не слышалось. Хотел приподняться, но резкая боль саданула по сердцу. Рукой о землю опёрся и сидит, вслушиваясь в затухающую в подреберье боль. Когда сердце вновь застучало ровно и безнадрывно, припомнил, когда саданул по сердцу, будто вскрик Юлии услыхал. Но не зовущий, а упреждающий как бы.

Когда же совсем покойно стало Сане, понял он, что это и есть место, которое искал. Стал дорогу оглядывать. В сторону города спуск, в противоположную сторону небольшой участок подъёма, а в полсотне метров от него километровый столб. Саня даже цифру прочитал — «27».

«Ну и ладно», — на душе стало покойно.

«Вот и нашлась ты, дочка...»

«Ещё бы и голос разочек услыхать, тогда уж и домой можно ворочаться, чтоб решить, как быть-то дальше...»

Разные мысли крутились в голове Сани, пока наконец не приняли некую направленность, и он погрузился в долгие да сладкие воспоминания. И вся счастливая пора их жизни прошла перед ним. Уж к самому краю близилось это светлое забытьё, когда отвлёк его шофёр с проезжающего автобуса, тронув за плечо. Но это и ладно. Охота ли ещё раз ужасное-то пережить, хотя и в мыслях?

На следующий день пришёл Саня Манин на кладбище к Нине – жене своей – с докладом, что нашёл их дочь и теперь думает, как их на одном погосте определить?

«А пока суть да дело, означу место Юленькиной погибели крестом», — пришло на ум Сане, когда закончил он свой «доклад». Мысль ему очень понравилась, и он, скоренько попрощавшись с Ниной, пошёл домой.

Пока до дому досеменил, уже решил, какой крест закажет. «И непременно табличку надо заказать с датами жизни и погибели Юленьки», — подытожил Саня, когда уж калитку открывал у дома.

В периоды, когда всякая холера косила людей несчётно, гробовщикам да всякого рода похоронных дел мастерам лафа — веселы и довольнёшеньки. Вот и Санин заказ выполнили играючи. Через три дня после приёма заказа привезли ему и крест, какой просил, и табличка была на нём прикреплена.

Рассчитался Саня с водителем «ГАЗели», на которой доставили заказ. Да ещё и договорился с ним, что на следующий день отвезёт он крест в указанное место. Шофёр рад на стороне подработать, согласился и пообещал подъехать в конце рабочего дня.

Саня крест во двор занёс, к дому прислонил, а после на верхней ступеньке крыльца уселся и крест рассматривает. Табличку прочитал – всё на ней верно написано:

Воробьёва Юлия Александровна
09 1971 — 29 1988
03 06

«Ладно, всё сделано», — отметил в итоге Саня, но ещё раз окинул придирчивым взглядом изделие.

Родилась Юлия девятого марта, а Нина перед тем в самый праздник – восьмого.

— Упорядочно-то как было!» — вздохнул Воробьёв. — Сперва с дочкой мать поздравляли с Восьмым марта, а на следующий день уже с Ниной «супризец» дочке готовили...

«Последний «супрыз» осталось сделать», — горько подумал Саня Манин по фамилии Воробьёв и поднялся. В пустую избу вошёл, будто в безвоздушное пространство. Дыхание перехватило, покачнулся даже и, чтоб не упасть, за косяк двери взялся. «Устал, видать...» — и в кухню прошёл, не снимая сапог. За стол уселся и отдалился от мира сего в непонятную «зАжисть».

На следующий день Юрка-шофёр, как и обещал, подкатил к дому Сани. Крест погрузили в крытый кузов, рядом приткнули лопату и небольшой ломик. Сумку, из которой высовывалось топорище, Саня взял в кабину. В той же сумке и чекушка была да ломоть хлеба с салом, чтоб помянуть Юлию после установки креста.

Когда от дома отъехали, объяснил водителю, куда надо ехать. Юрка, выслушав Саню, утвердительно пробормотал: «Угу...», а расспрашивать, зачем да почему, не стал. Уж более двадцати лет он шоферил и знал, что на месте гибели их брата ставят памятные знаки. «Наверное, Юлию эту там машина сбила...» — предположил и переключился на своё.

Приехали на оговорённое место, с полсотни метров не доезжая до двадцать седьмого километра. На обочину привезённое выгрузили. Шофёр закурил, а Саня к нему с вопросом: сколько платить надо за подвоз?

Юрка смутился от неожиданного вопроса: он-то думал, что поможет мужику в его деле и потом вместе вернутся в город, а тут расчёт просят. «Расчёт так расчёт...» — подумал, вслух же произнёс:

– Двести...

Саня торговаться не стал. Достал деньги, две «сотенных» отсчитал, Юрке протянул. Затем поблагодарил мужика да посетовал, будто в оправдание своё: мол, не совсем по-людски получилось вроде, но тут расклад такой.

— Я, Юр, потихоньку сам слажу всё... Моё это уж очень... После помяну дочку-то и сам доберусь отседа...

Юрке тоже неловко сделалось от своей мелкой обиды: «В самом деле, как на чужом пиру здесь буду».

— Машина сбила дочь-то?

— Вроде того, — пробормотал Саня и стал торопить шофёра: — Ты, Юр, езжай уж.

— Ага... А ты-то как? Автобусов-то не будет больше.

— Так это... Как-нибудь уж... На попутке, — заюлил Саня, но тут будто осенило: — Я ведь, если чё, так и в деревне вон той, — указал в сторону видневшейся за бугром крыши дома, — переночую. У меня там кореш армейский живёт, — приврал последнее для убедительности.

Юрка уехал, а Саня на обочине уселся, ожидая, когда «ГАЗель» скроется за бугром. Затем встал и принялся разглядывать асфальт на дороге, пытаясь угадать, где могла бы быть погребена Юлия, чтоб именно на том месте и установить крест.

«Разумней-то на обочине поставить, — подумал, — но Юля-то ведь под асфальтом. Значит, на асфальт и надо крест ставить».

Цельный асфальт долбить несподручно. А вот когда колдобины да ямы через метр, то тут подгадать можно, чтоб асфальт не долбить. Выбрал углубление в дорожном покрытии Саня и, взяв ломик в руки, за дело принялся. Сперва щебёнку расковырял, лопатой выгреб её и рядом с ямкой аккуратной пирамидкой насыпал. Думал, дальше лопатой сможет копать, но ошибся: песок под дорожным покрытием спрессовался так, что только лому и поддавался.

Углубил всё ж ямку на полметра. Взмок, а тут из-за бугра машина выползла. Саня ногой быстро земляную кучку возле ямки разровнял слегка, инструмент взял и к лесополосе отошёл. Крест туда заранее отнёс, чтоб не смущать проезжающих.

Пока машина доползла до того места, где Саня сидел возле полосы как отдыхающий грибник, рубаха, конечно, не высохла, но стала чуть поприютней для тела. А сам работник отдохнул чуть да дух перевёл. Когда машина скрылась за бугром, поднялся к яме для креста. Оценил глубину: «Хватит...» — и за крестом спустился.

Ещё десяток минут, и вот он, крест, посреди асфальта стоит, чуть некренившись на сторону.

«Вот и ладно... Теперь уж не будут по дочкиным костям колесить всякие разные...» — инструмент собрал и хотел было сесть сразу, чтоб помянуть дочку, но, подумав, что вдруг из-за бугра машина какая выскочит, решил отойти от креста до следующего бугра и уж там устроить поминки. «И людскому глазу не мозойно, и крест на виду...» – подытожил свои рассуждения. Сумку с провиантом да топором на лопату повесил и затем эту поклажу вместе с ломиком закинул на плечо — ладно, всё улеглось. Глянул ещё раз оценивающе на творение рук своих и пошагал по дороге в сторону города.

Под горку шлось Сане легко. Ветерок чуть студил приятно и добро запыхавшегося в работе Воробьёва. На душе впервые за долгие годы покойно стало и даже радостно. Шагал, будто молодой, на свидание с ненаглядной в далёкую деревню. Далековато до города, но в таком-то расположении духа в тягость ли ходьба? Нет, конечно.

Ночь в дороге застанет? Так и что? В июне-то какая ночь? Пшик какой-то — едва стемняло, а уж заря восток красит легким заревцем.

Под горку спустился Саня, дорога на бугор выгибаться стала. Оглянулся, чтоб ещё раз на крест полюбоваться. Хорошо он виден даже снизу на фоне голубого неба. «Дивно...» — порадовался и отвернулся, чтоб дальше путь продолжить.

Но что это? Дорога почему-то не просто в гору пошла, а вертикально вдруг перед Саней вздыбилась. «По ней же не идти, а карабкаться надо!» — Саня инструмент откинул, чтобы не съехать по возникшей горе, и за траву попытался ухватиться.

Не успел. Как по ледяной горке поехал вниз. Попытался всё же за траву на обочине зацепиться, да руки не дотягиваются до неё — будто на середину дороги снесло, а после и вовсе стало от земли отрывать.

«А эть лечу! Чудеса, и только...» — от радости да от красоты земли, увиденной с лёта, дух перехватило. Увидел и дорогу, по которой только что шагал.

«Мужик какой-то валяется — верно, пьяный...»

«А вон и крест...»

«На асфальте? Так и что? На могиле же...» — замелькали, будто в калейдоскопе, мысли.

Внизу птицы весело щебечут, а сверху...

А сверху слышит, явственно слышит: «Здравствуй, папка!»

«Да это же Юленька...»

И разнеслось над Землёй неслышимое: «Здравствуй, Ю-ю-ю...»

В 2010 году рассказ отмечен на Международном конкурсе «Золотое перо Руси» в номинации «Проза – Золотое перо», Московской городской писательской организацией – медалью «Литературный олимп» (2010 год) и Дипломом им. А. И. Куприна «Гранатовый браслет» (2011 год).

ГЕННАДИЙ СМИРНОВ

ВСПЫХНЕТ ИЗ МРАКА НОЧНАЯ ЗВЕЗДА

***

В росны травы тишина упала,
Над озерной гладью свет зардел.
Мимо день прошел, вздохнул устало
И исчез в тени древесных тел.

Куковала целый день кукушка,
Отсчитала чей-то вдовий срок.
Слаще булки черствая горбушка,
Если есть родимый уголок.

Ах, кукушка, иволга да сойка,
Да, под драной крышей не жилье.
Женихов сгубила перестройка,
А невест развеяло былье.

И теперь румяный летний вечер
Обнимает эту тишину,
Не сулит взлелеянную встречу,
Не взволнует деву ни одну.

В росны травы звездочка упала,
Над озерной гладью свет зардел.
Как давно здесь песня не звучала –
Гармонист в чужбине постарел.

Так гори, заря, над захолустьем,
В небесах плывите, облака.
Есть еще надежда в русской грусти,
Есть еще по родине тоска.

Карасьяры, 2009

Смирнов Геннадий Николаевич родился в 1953 году в Медведевском районе. Автор 2 поэтических сборников, переводов марийских поэтов. Член Союза писателей России.

***

Астры замерзли в безлюдном саду,
Я бы согрел, да тепла не найду.
Ветер холодный дыханьем своим
Только развеял спасительный дым.

И догорает далекий костер.
Свет его манит бродяг на простор.
Красной рябины цыганский наряд
Лишь украшает безжизненный сад.

Яркий закат не подарит тепла.
Кутает астры вечерняя мгла.
Вспыхнет из мрака ночная звезда,
Но, померцав, не посмотрит сюда.

Всмотрится утром в прозрачный ледок
Мертвенным взглядом последний цветок.
Только я верю – и год не пройдет –
Новая астра на клумбе взойдет.

***

Все позади, только ветры холодные
Бродят по свету, не могут устать.
Где вы, порывы мои благородные,
Смоль в волосах, молодецкая стать?

Где то наивное детство беспечное
Или влюбленности первой пора?
Скоро уж станция будет конечная,
Молча прошествуют кондуктора.

Где моя милая, где синеокая?
Вяжет носочки и нянчит внучат?
Тихо мерцает звезда одинокая,
И пожелтевшие листья летят.

Дни золотые и ноченьки черные...
Годы развеялись синим дымком.
Что ж вы умчались, как кони проворные,
Мысли, желанье о счастье земном?

Что ж, не вернется уж мама крещеная,
Друг не воскреснет, и брат не зайдет,
Если названье страны сокращенное
Даже Всевышний уже не вернет.

***

Все течет, все убывает,
Тает дней безвестный счет.
На луну собака лает,
Ветер шорохи метет.

На лугу трава седеет,
В небесах звезда горит,
Друг о чем-то сожалеет...
«Не жалею», – говорит.

Так и год бесславный канет.
Вечность в пыль его сотрет,
Если гром зимой не грянет,
Власть не ринется в народ.

***

Еще одно лето пропало за сумрачным склоном,
Не слышит мой крик запоздалый – хоть миг подожди!
Остынут ли чувства меж липой и вспыхнувшим кленом,
Когда их накроют промозглым туманом дожди?

Упавшее яблоко скатится в лунку печали,
Но будет печаль моя солнечных пятен полна.
Пусть кони безудержной страсти в туман ускакали,
Я выпью с мерцающей звездочкой рюмку вина.

И будет дрожать паутинкой до бабьего лета
В изменчивом мире под ветром сомненье мое.
Пусть мимо меня прошуршит золотая карета,
Над белой церквушкой уже не кружит воронье.

Закружатся листья в экстазе забытого танца.
Смешаются в музыке всплески и стук желудей.
И где-то мелькнет в череде полустанков и станций
Знакомый, как будто из древних времен чародей.

***

Зимний вечер хорош, даже в городе мрачном и сером.
Ну, а если в село по дороге вдоль светлых берез?
Уверяю, не снился такой и героям Гомера,
Пусть не тройка лихая, а старый автобус повез.

Голубые снега, от деревьев ползущие тени,
И заря – это катится солнце с высокой горы.
Потускнел разговор земляков об удачном размене.
И глядит изумленно лиса на пожар из норы.

Или это летят над полями горячие кони
Удивительно розово- ало-багровых мастей?
Их никто не догонит, уздечкою звонкой не тронет,
У волшебных коней не бывает земных скоростей.

Ах, какой оборот! Так возьмите меня, подождите.
Ухватился б за гриву любого – гореть так гореть.
Хорошо бы в полете сгореть. Что ж, соседи, молчите?
Приуныли попутчики. Что им поэтова бредь?..

Далеко, высоко засияла звезда-заманиха,
Там мечта затерялась моя из отроческих лет.
Увязались за мною беда и косматое лихо.
«Отвяжись», – говорю. Исчезают, и снова на след.

Зимний вечер хорош. По скрипучей дорожке до дома,
Где давно заждались и, конечно, посадят за стол,
До утра посидим за беседой до сладостной дремы...
Неотвязную пару укроет метели подол.

***

Любви начало было летом…
Н.Клюев

Любви начало было летом
Среди бесчисленных начал,
Но я тогда не знал об этом,
Я многого не замечал:

Как створки раковин, вскрывала
Прохлада с пылью бледных звезд;
И к свету лунного овала
Тянулся, выгибаясь, мост;

И тайна, тайну узнавая,
Ловила шорохи в тиши,
А где-то ива голубая
Перебирала камыши.

Мне звездный луч – осколок ночи
Уж подавал из темноты
Еще не знак. В туманных клочьях
Навстречу мне шагала ты.

Забилось сердце по-иному,
И каждый листик трепетал,
И слышно было водяному,
Как бьется лодка о причал.

И притворилась спящей птицей
Судьбина – стражница моя,
Чтоб я сумел освободиться
Из паутины бытия.

Любви начало было летом...

***

Полыхает закат, в камышах зажигаются свечи,
Одинокий кулик избывает тоску у болот.
Твой задумчивый взгляд обещает неблизкую встречу.
Ускользающий миг никогда мне судьба не вернет.

Лепестками цветов тишина устилает поляну.
В задремавшей реке отражаются лисьи хвосты.
Не мою ли тоску, словно белую лошадь в тумане,
Будет ветер искать, раздвигая в росинках кусты?

Не спеши уходить от озноба озябшей сирени.
Вот и звезды зажглись, до паденья одной подожди...
По траве заскользят облаков отплывающих тени,
Значит, наши следы не размоют и завтра дожди.

Серебристая пыль затеряется в шелковых складках.
Растворится в глазах голубое сиянье луны.
Ты уйдешь, унося этот вечер до ужаса краткий.
И пронзит меня холод до пят из речной глубины.

Скоро гаснет закат, догорели высокие свечи.
Одинокий кулик задремал в камышах у болот.
Твой задумчивый взгляд обещал мне далекую встречу.
Но исчезнувший миг никогда мне судьба не вернет.

***

С теплом последним вечеров
Таинственней опавший шорох.
И пусть в обители ветров
Метется дней прошедших ворох.

Там мелочь выспренных идей,
Любовь, загубленная ложью,
Толпа неузнанных людей,
Бредущая по бездорожью.

А здесь как будто не видать,
В глуши, ни зависти, ни злобы.
Лишь слышно, как летит опять
Листва в прогалах и чащобе.

Затопит печку ввечеру
Мой друг лесной в избе сосновой,
И юркнет лисонька в нору,
Глухарь затихнет краснобровый.

И будет с дымом благодать
Над крышей к звездам ярким виться,
Чтоб завтра новый день вдыхать
И на ошибках жить учиться.

Собаке Васильева

Положи мне морду на колени,
Я тебе за ухом почешу.
О моих раздумьях предосенних
Где-то ветер шепчет камышу.

Лишь в твоих распахнутых глазищах
Я не вижу рабствующей лжи,
Что грызет правителей и нищих,
Никогда ее не сторожи.

Даже если будет кус жирнее,
Чем кусок с хозяйского стола.
Ты, Шанель, той женщины вернее,
Что моей любимою была.

Может, встречу на тропинке узкой
Я колдунью в девственных лесах
И найду исток печали русской
В васильковых гибельных глазах.

Ах, о чем твои собачьи думы?
Я бы много дал, чтобы узнать,
В этот день таинственно-угрюмый,
Глядя вдаль, где скрыта благодать.

Карасьяры, 2009

***

Что впереди, что нам пророчится:
Иль натиск бурь, иль тишь и гладь?
Сегодня звездочку над рощицей
Мне хочется рукой достать.

Сегодня в доброе лишь верится,
Пусть холодны еще снега,
И даже белая метелица
Нам рассыпает жемчуга.

Пускай поет нам «Величальную»
И где-то водит хоровод,
На наши кольца обручальные
Незримо вечность упадет.

И пусть колдун или пророчица
Смешают карты все в ночи,
Звезда высокая над рощицей
Нам дарит светлые лучи.

***

Вот и август опять распахнул свои грустные очи,
С их зеленых ресниц золотиночек вижу полет.
С его век вековых, что ушка от иголки короче,
Придорожную пыль ветерочек с ленцою стряхнет.

Не смотри на меня, я ведь тоже бываю уставшим.
По-блатному спешит, как танцует, в полоску судьба.
Окунувшись в твой взгляд, я уж точно не буду отставшим.
К голытьбе милосерднее будь – лишь об этом мольба.

Я отрину, сгоню бытовухи минутную слабость,
Полной грудью вдохну пряный воздух твоих вечеров.
В них мерцает невидимой звездочкой тайная радость
И гуляет неясная тень меж древесных стволов.

А потом, а потом за шиповником диким и алым
Я пойду к берегам холодеющей быстрой реки,
Где и думать легко, как дышать, о великом и малом,
И накормят духмяной ухой у костра рыбаки.

Если встречу коня, поутру выходя из тумана,
Непременно из пут на свободу его отпущу.
По привычке людской, побывавший в плену у обмана,
Я на волюшку рвусь, пусть ее никогда не сыщу.

Вот и август опять распахнул свои грустные очи.
Не грусти нипочем, пусть закаты твои все бледней.
Ведь мечты, как прекрасные девы, уста свои мочат
В горьковатом и сладком меду переменчивых дней.

Всколыхнется душа в полусне среди ночи в сарае,
И разбудит меня на рассвете твой яблочный стук.
Не захочется мне расставаться с тобою – я знаю,
Но у вечной любви есть печали и горечь разлук.

***

Моя любимая осталась в электричке.
Куда уехала? Не знаю до сих пор.
А сердце мается невспыхнувшею спичкой,
Что не смогла зажечь в душе ее костер.

Ее увидел я в студенческом вагоне,
Она смотрела, отрешенная, в окно.
Я, нерешительный, остался на перроне.
Она уехала – ей было все равно.

Швыряла жизнь меня налево и направо.
Дорожка-скатерть не стелилась для меня.
Брела за мною неприкаянная слава
С цветком разлуки, чертыхаясь и кляня.

Искал я долго безымянную по свету.
С холодным сердцем многих женщин целовал.
Истратил молодость, как звонкую монету,
Слова волшебные в дороге растерял.

И вот я маюсь. Затухающая спичка
Уж не мечтает о неистовом огне.
В стране советской заблудилась электричка,
А я остался, но уже в другой стране.

***

Зарылась в ворох листьев мышь
Моих сомнений.
Закат окрасил ребра крыш,
Бока строений.

Закат не алый, но сплошной –
Намек ужасный,
Что в этом мире ты смешной,
А не прекрасный.

Смешна и мысль, что ты – поэт,
Где ложь и блудни
Заполонили этот свет
И в пир, и в будни.

Где с виду добренький сосед
Свой ножик точит,
А на слова «Храни от бед»
Лишь захохочет.

Где мент, отчаянный в кино,
Труслив и жалок.
И времени веретено
Давно без прялок.

И потому сомнений яд
Мне сердце гложет,
Что будут строить светлый град
Все те же рожи.

АЛЕКСАНДРА КАРПОВА

ЭТО ЕЩЁ НЕ СМЕРТЬ

Документальная повесть

О СЕБЕ

В 1977 году мне исполнилось пятьдесят пять лет. Я — пенсионерка. Помнится, этот год и юбилейную дату встретила с болью в сердце. День рождения у меня в мае, но уже с первых дней года я буквально болела приближением моего «заслуженного отдыха». Многое бы отдала за то, чтобы оттянуть эту дату на десять-двадцать лет. Не потому, что я вполне здорова, наоборот, уже крепко износилась. Меня страшило то, что окажусь за бортом, без той суетной горящей жизни, которой жила всю жизнь, страшило, что теперь никому не буду нужна.

Тридцать шесть лет проработала без всякого перерыва, кроме отпускных двенадцати или двадцати четырех дней в году, и то часто «с компенсацией»: одна воспитывала двоих детей, не до отдыха было.

И вдруг... только представить: я — пенсионерка, через три дня на работе собрание, поздравят... и всё.

После пенсии на разных должностях я проработала ещё девять лет.

Выйдя на пенсию, днями и длинными вечерами имела много свободного времени и слушала воспоминания мамы, Миндеровой Пелагеи Фёдоровны. Воспоминания о её жизни, обо всём, что ею пережито вместе с отцом, а позднее и с нами, детьми. Я всё записывала. Мама прожила большую и трудную жизнь — девяносто девять лет, сохранив и память, и чувство юмора.

Первое время я писала с большим желанием, даже с энтузиазмом, многое вспоминала сама. Затем появились внуки, свободного времени стало меньше, а потом писать не позволяло здоровье. И лежали мои записи несколько лет, никем не прочитанные, а так хочется, чтобы люди читали...

Здесь всё правда, нет вымысла и художества, все эпизоды — истина, всё пережито нашей семьей.

1989

Семья Миндеровых. В нижнем ряду: Анна с дочерью Люсей, Иван Михайлович, Пелагея Фёдоровна. В верхнем ряду: Лиза с мужем Василием Степановичем Батановым и Александра (автор). Фото 50-х годов.

ЧАСТЬ 1. ДЕРЕВНЯ

БЕДА

— Иван, прошу тебя, давай не будем спешить. Ещё дома, в дорогих наших стенах, встретим Воскресение Христово. Со вчерашнего дня уже пошла последняя, Страстная, неделя.

Пелагея не просила — умоляла, сама не сознавая того, что и ему, Ивану, хотелось встретить Христа дома. Как раньше, сходить или съездить в церковь, разговеться, со всеми похристосоваться. Но не мог он ждать ни недели, ни дня.

Пелагея всегда была сильная духом, выносливая. Сколько житейских трудностей она перенесла и, казалось, всегда побеждала. А сейчас? Непосильной оказывалась ноша, тяжёлое невиданное доселе горе.

— Значит, Иван, подошла и наша очередь, — с горечью говорила она. — Значит, и нас беда захлёстывает.

Беда давно их подстерегала. В этой «очереди» отстояли уже многие — те, которые или отмучились навеки, или где-то в степях, в тайге оплакивают свою тяжёлую долю.

— Не горячись, Иван, раз ты решил, так и будет. Дай мне последние денёчки наглядеться на свое гнёздышко. О, как перенести такое! Боже, Боже, помоги, не оставь нас, поддержи, Господи!

Пелагея хваталась за голову, стонала, что-то начинала шептать и продолжала:

— Не сердись на меня, отец, я лишнего напричитала. Но ты подумай обо мне, Ваня! Всё покинуть, всё! Ведь здесь всё наше: и небо, и земелька, и рощица, и каждый уголок на осырке... И всё бросить, оставить, куда-то уехать, в чужие края... Помоги мне справиться с собой!

Она вышла во двор, где ещё дышалось приятным привычным теплом из хлевов, кудахтали куры, изредка мычала корова, а как завороженно-сладко слышать хруст овса и сена, которым наслаждалась их лошадь Сивка.

Хозяин тоже вышел во двор. Он долго стоял около стойла, опершись на хомут, изрядно потрепанный, отслуживший немалую службу.

С жесткой мужской болью он огляделся вокруг. Тут стоял тарантас, там висела сбруя, так называемая праздничная, часть из которой использовалась только в праздничные дни. Хомут был увешан колокольчиками, которые выменял Иван давным-давно на ярмарке на осьмушку льна, а в углу двора, около глухой стены, граничащей с соседями, лежали телега, сани, соха, борона и вся утварь, нужная в свое время.

«Ведь всё растащат, всё позагубят, — подумал Иван. — Да что нам это? А дом? Да Бог с ним, все равно не сейчас, так позднее отымут, — го-

рестно заключил он и добавил: — Только вот всё исправное, добротное, всё сам, сам налажал».

Да, немного таких домов и хозяев в деревне, а скольких из них уже и в живых нет... Что вокруг? Дворы, в которых и окна-то в домах покосились, ворота с выпавшими в середине досками, крайние стойки стоят: на одной — петля, на другой — защёлка. Крыши если соломенные, так птицы гнезда вьют, а если деревянные, то гнилые. Дворы открытые, где зимой сугробы снега, а летом грязь и лужи от дождей. И поля-то у них не родят. Разве не одна земелька когда-то делилась? Никто в то время её не выбирал: что дали мужику, то он и имел. Но вот прошли годы. Одна полоса радует глаз хозяина, другая — рядом же — а заросла, чертополох на непропаханных кочках, не удобрена, вовремя не прополота.

«Опять, дьяволы, пьют, в карты играют. Такие-то здоровые, дуботелы...» — Иван с гневом сплюнул, поморщился.

«Лодыри проклятые, лентяи бесстыжие, скоты, ничего не хотят сделать сами для себя. Срам! Была бы моя власть, не только колхоз бы я им не доверил, а хвоста собачьего они у меня не увидели бы».

Воспоминания наплывали одно за другим: как пришёл с войны, как землю делили, как ему худший кусок, самый неухоженный от самого лентяя достался, как выходил земельку...

Иван возвратился в избу:

— Всё, мать, собирайтесь...

МОЛОДОСТЬ

Сколько прожито бессонных, тревожных ночей! Как бы успеть с покосом до дождей, как бы вовремя вспахать, посеять, а вдруг непогода.

Вот гроза с ливнем, с градом. Иван вскакивает с постели:

— Пелагея, буди девчонок. Чем-то закрывайте в огородце, а я — в поле.

На ходу хватает лопату, бежит. Что он там сделает? Не прикроет же своим телом всё, что поливал ливень, что хлестало градом. Но где-то воду отведет, поправит смытую межу, набросает сорванных с берёзы веток. И везде бегом, подвернув штаны, босиком, будто своим присутствием, своей любовью одобряет всё, что залито, приникло к земле.

— Ничего, мои подруженьки, — говорит прибитым к земле нежным всходам гречихи и гороха, — ничего, поднимемся. Завтра с солнышком мы и поднимемся.

Иван Михайлович из тех мужиков, которые были олицетворением деревни, её труда и её правды. Ещё недавно к его советам многие прислушивались, кроме разве что тех, кого называли олегаями, которые своё лентяйство прикроют небылицами, оплетут соседа сплетнями и всегда выпутаются, и всегда оправдаются.

Крепкий, высокого роста, русый, небольшая бородка, голубые глаза светятся из-под низко нависших бровей, в улыбке и доброта, и хитринка, и весёлость, и серьёзность. А в гневе глаза как метнут искры — значит, несправедливость тут, не по совести. И тогда насупится, набычится. С ним с таким не связывались — отступали.

Говорил Иван Михайлович мало, некрасноречиво, но силу его все чувствовали — и физическую, и внутреннюю. «Твёрдо стоит на ногах» — сказано про таких людей.

Если бы его и ему подобных слить воедино, да разве такая жизнь была бы, разве такие колхозы можно было бы поднять? А тут... Кого посадили управлять хозяйством? Да они на своём-то дворе не могут управиться!

Что сотворили с этой силой, корнями вросшей глубоко в землю? Эти люди никому ничего плохого не сделали, ни у кого ничего не требовали. Они, как все, покорно приняли власть Советов. Их жизнь — извечный труд. Зачем же силу эту и этот труд было губить?

Пелагея, жена Ивана, во многом была противоположностью мужу: светловолосая, невысокого роста, голосистая в молодости, весёлая, на языке то и дело шутки-прибаутки.

В пляске её всегда вызывали в круг. А Ивану это было не понять.

— Так я пойду одна, Ваня?

— Да иди, скачи, если тебе уж так охота.

Редко кому она уступала в играх на деревне. Играли в лапту — Пелагея била без промаху. А если в мяч — то она первая прибегала обратно.

Порой в молотьбу во время отдыха на гумне Пелагея нарывалась бороться с Татьяной, женой Василия, брата Ивана. Татьяна была выше ростом, здоровая, крепкая. Она вначале отмахивалась от Пелагеи, потом нехотя входила в азарт, и начиналась настоящая борьба.

— Полюшка, пожалей ты меня, — шептала невестушка. — Голубушка, неудобно ведь, мужики смеяться будут. Такую-то корову ты побеждаешь.

«...Не хотелось мне уступать, но уступала, — вспоминала мама, уже будучи старушкой. — Мужики хохотали, а золовки мои хлопали в ладошки и визжали. Они понимали, что победа была моя, так как я всегда была наверху. Невестушка Татьяна, вся запыхавшись, в поту после борьбы сразу ложилась на снопы, а мне ещё и ещё хотелось беситься».

...Степенностью и сдержанностью брал Иван, зато Пелагея — весёлостью, общительностью.

— Пелагея, ты больно-то не скалься, — иногда ревновал Иван. — Вон приказчик даже выскочил из лавки на улицу и долго пялился на тебя.

Пелагее был приятен этот запрет мужа, и она, вероятно, в таких случаях украдкой чуть улыбалась про себя. Хотя красавицей она не была, но фигура, в талию с баской кашемировая кофточка, юбка по подолу с вышивкой, длинная толстая коса, которую она оплетала вокруг головы, нежный румянец (если что смущало, он вспыхивал во все времена года), крупные ровные белые зубы и улыбка — все это заставляло мужчин кидать на неё взгляды.

Могла она принарядиться и детей содержала в чистоте с каким-то недеревенским «шиком». Когда стояли на службе в церкви, то трудно было отличить детей Пелагеи от городских. Она сама им шила, придумывала из рюшек, кружев отделки, бантики, кантики. А главное — платья и юбки короткие, не до пят, как у деревенских.

Иван Михайлович детям своим не давал по утрам нежиться. Чуть более десяти часов — и на работу. Судьба наградила его рабочими руками, но, к сожалению, женскими. Пять дочерей — «девчачья пятерка».

И сами Иван Михайлович и Пелагея с раннего утра в поле, домой возвращались только к завтраку. А из окон олегаевских домов бабьи лица с насмешкой:

— Смотрите-ка, Иван-то Михалыч с Пелагеей ночевали, видно, в поле. Ха-ха...

Это те, у которых дворы завалены хламом, в поле не родит, скотина не размножается. Это те, которые любят поспать и позавидовать другим.

СОЛДАТКА

В 1914 году Ивана Михайловича забрали на войну с Пруссией. В доме Пелагея осталась, сама — шестая. Парализованный свёкор на печи, две золовки на выданье, двое своих детей, пяти и одного года, Мария и Люба. Не опустила рук солдатка, повела хозяйство, как муж его вёл. На ходу ела, на ходу ласкала детей, давала указания своим «работницам»-золовкам Ольге и Анне. Они ее слушали, и не только — долгое время казалось Пелагее, что любили. Понимали, на ком всё держится. Ольге, старшей, было семнадцать, Анне — пятнадцать.

— Да скажите вы ей, пусть отдохнет малость, ведь печку-то снесёт, — подавал с печи голос свёкор, когда Пелагея бегом таскала воду, дрова.

Через год стали приезжать к Ольге сваты, женихов было много. Ольга модница была, хваткая. Пелагея вся извелась, на котором женихе остановиться. Боялась, как бы не ошибиться. А свёкор что, он, как всегда:

— Уповаю на Бога и на тебя, Полюшка. Думаю, уж ты не обидишь сиротинушку.

А Ольга думала о приданом, боялась, что Пелагея мало чего даст.

— Оля, — успокаивала золовку Пелагея, — ну что ты ревёшь? Неужели я тебе не соберу приданого? Хочешь, отдам обе подушки из моих, возьми и полог наш. Что ты, Господь с тобой. Уж как-нибудь с Божьей помощью. Только ведь и Анне надо что-то оставить.

Отдала Пелагея Ольге всё, что та просила: лучшие скатерти, лучшие расшитые полотенца, отбеленные новины.

— Ольга, а может, не надо тебе новины-то, ведь в город едешь, там не будешь в лаптях ходить.

— Всё пригодится, складывай.

Анна плакала, была в большой обиде. Пелагее и её пришлось успокаивать.

— Не сердись ты, Аннушка, на нас. Бог даст, вернется Иван, так мы разве такое справим тебе приданое! Не век же продлится эта война...

Отдали Ольгу за городского в город Яранск. Короткой была семейная жизнь Ольги: через год мужа её, Пантелея, забрали на войну, а на руках у неё остался месячный ребенок. Вскоре на мужа похоронная пришла.

От Ивана, как ушёл на войну, было короткое письмецо, после которого долгое время никаких вестей. Потом узнали: пленён был Иван Михайлович.

Пелагея плакала ночами и молилась Пресвятой Богородице, Николаю Чудотворцу и Всем Святым, просила сберечь, сохранить её Ивана.

Как-то в воскресный день пошла в церковь посоветоваться с батюшкой:

— Не знаю, батюшка, как поминать своего хозяина: или молиться за здравие, или за упокой?

Батюшка, старичок уважаемый во всех окрестных деревнях, призадумался, тихо сказал:

— Молись, молодушка, за здравие. Ведь если бы его убили, то пришла бы похоронка. А раз нет сообщения такого, верь, что жив. Веруй и верь!

И молилась Поля за всех плененных, за раненных, за убиенных, за всех воинов и за царя-батюшку.

С наступлением зимы похоронила свёкра, облила его слезами с приговорами.

На другой год собралась замуж Анна за парня из своей деревни, Павла Скрипунова. Радости в этом сватовстве было немного. Жених был беден, рос сиротой, без отца. Рассказывали, что отца задрал медведь.

Павел более месяца караулил медведя — отомстить за отца. Но получилось совсем другое. Нашёл он таки неглубокое медвежье логово, а внутри двух медвежат. Павел забрал их, одного продал кому-то в город, а другого принёс домой и держал в хлеву. Ночами всю осень медведица подходила к дому. Мать Павла страшно боялась, просила отпустить медвежонка, да и в деревне уговаривали отпустить. Павел и мужики укараулили приход медведицы и отпустили к ней медвежонка, сами в щель из сеней смотрели, как встретятся мать и сын. Медведица обнюхала медвежонка, то с одного бока подходила, то с другого, то подминала под себя. Затем началась возня, шипение, какие-то странные звуки. И скоро всё стихло. Когда медведи ушли, никто не заметил. А вышли за гумно — и ужаснулись: от медвежонка осталась изодранная шкура и куски мяса.

— Ну, мать-зверюга! — ахнул Павел.

Что случилось — никто не понял. То ли мать-медведица не перенесла человеческого духа от своего дитяти, то ли отомстила ему за измену, не поняв своими звериными мозгами, при каких обстоятельствах пропали её дети, когда не обнаружила она их, вернувшись в свое логово.

С того вечера не стало больше медвежьих следов от леса к осырку. Не стал больше преследовать медведицу и Павел.

Мать жениха не могла вести хозяйство в полной мере, дом был с двумя окошечками на улицу. Как было в такую семью отдавать Анну?

— Чего уж ты, Анна, поспешаешь? — говорила Поля. — Может, выйдешь в семью побогаче, ведь тебе только восемнадцать?

— А в следующем году, — возражала Анна, — мне пойдет двадцатый, нет желания оставаться в старых девах. Тебе, видно, стыдно меня отдавать, всё приданое свалила Ольге.

Редко плакала Пелагея, а тут и заплакала. Ей было больно и за себя, и за Ольгу. И обидно. Сколько-то сил она положила на них: как ей ни было трудно с их больным отцом, она все равно и Анну не оставила без приданого, помогла ей поехать в другую деревню учиться на портниху. Уезжала Анна — полную корзину харчей собрали, приехала — надо новые ножницы, надо к ручной машине станок, чтобы получилась ножная машинка, надо материи, на которой учиться.

И Пелагея во всем старалась помочь: отдала свои большие шали, сарафаны, разлетайки — шей, перешивай, учись.

— Бог с ней, — решила Пелагея. — Пусть выходит.

Осталась Пелагея одна с детьми, двумя своими девочками.

Бедность, говорят, не порок, и зять, Паша, оказался мужиком трудолюбивым. Вскоре домушку с двумя окошечками превратил он в хороший красивый дом.

Пошёл третий год войны, третья зима без Ивана.

— Замучилась я с дровами, — жаловалась Пелагея Спиридону, двоюродному племяннику Ивана Михайловича, единственному в силе мужику в деревне.

Его не взяли на войну из-за бельма на глазу, а остальные мужики — излом да вывих. Не к кому ни за советом, ни за помощью обратиться.

— Одна никак не могу навалить плаху. А они сырые, тяжёлые. Вчера брала с собой Манюшку. Ну что она... Ей ведь всего минуло восемь годиков. Ну и то правда, помогла, хоть лошадь подержала.

Спиридон посочувствовал, пообещал на своей лошади перевезти все бревна.

Прослезилась Поля:

— Дай тебе Бог здоровья, Спиридон. Там у меня нераспиленных осталось две сосны. Одна небольшая, а другая... Ну, ахид, и помучила она меня. И подрубила, и подпилила, не падает и всё тут. Я её падогом толкала, обухом била, стоит как очумелая. Насобираю сучочков и домой. Думаю ночью, может, хоть леший её уронит или ветер. Приезжаю на другой день — а она стоит себе и улыбается. Обняла я её, поругала, пожалела, поревела аж на ней, смотрю — она и ахнулась.

Стояли Поля и Спиридон посреди деревенской улицы и смеялись сквозь слёзы.

Весна 1918 года. Кинулась Пелагея к сохе, а её нет на месте.

— Что же это, где она? Может, Анна взяла? Так ведь не могла, у них своя есть.

Анна встретила Пелагею неласково:

— Кому отдала, там и ищи. Чего меня-то спрашивать?

— Я подумала, может, Паша твой взял.

— О Боже! — вспомнила Анна. — Да ведь и впрямь прошлой-то осенью хромой Колька её спрашивал.

Пошла Пелагея к Кольке. Хромоту он получил в драке по пьянке.

— А чё я, — хмыкнул вечно пьяный Колька, — всего и прошёл-то одну полосу, она и сломалась.

— Так где же она? Чего же ты, ирод, не возвратил сразу, не починил? Хоть бы сказал, что сломалась. Ведь все давно пашут. Что ж мне делать?

— Вот свою полосу вспашу, тогда к тебе приеду, — смилостивился Колька.

— Это тебя-то ждать?.. — взвилась Поля. — А ну не сегодня-завтра запьёшь?..

— Ну иди и бери свою, там она где-то на полосе и валяется.

Пелагее снова помог Спиридон. Она на его и своей полосе вела коня, а он — за сохой. Управились быстро.

Осенью пришёл с войны Иван Михайлович. Вся деревня его окружила. Бабы выли: кто-то от радости, но больше от горя — оплакивали своё вдовство и детей-сиротинушек.

Пелагея была в поле, возила навоз. Подъезжала к деревне, кто-то ей крикнул:

— Чего плетёшься тихо? Гони, встречай своего Ивана.

— Я не помню, как хлестнула лошадь, — вспоминала мама, — как она стрелой ворвалась в широкий круг людей посреди деревни и остановилась у своего и моего хозяина.

Упала Пелагея к мужу на грудь, ноги подкосились, всё внутри замутилось.

Иван жену на руках занёс в дом.

Много пережил, перестрадал Иван Михайлович за эти четыре года. Два раза был ранен, лежал в лазаретах, выздоравливал, и снова на фронт. Воевал вместе с зятем Пантелеем, мужем сестры Ольги.

— Однажды, — вспоминал Иван, — мы вместе стояли в окопе. Попала в нас фугасная бомба, у меня расщепало всю винтовку, а Пантелея выбросило на бруствер. Когда я выскочил наверх... у него все внутренности живота лежали рядом. Я наклонился к нему.

— Прощай, Иван Михайлович, — сказал он, — целуй сына и...

На этом «и» он умер.

Иван Михайлович дважды был в плену, дважды бежал. Первый раз поймали и снова вернули к хозяину, на которого он работал. Хозяин приказал неделю подвешивать его за руки по два раза в день на два часа. Помог часовой, охранник: как никого не было, он подпинывал к ногам плашку-полено, так было полегче.

Второй раз бежали вдвоем с товарищем.

— С ним мы вместе попали в плен и вместе работали на конюшне, — рассказывал Иван Михайлович. — Он из Рязанской губернии. Бежали более лесом. Что встречалось на пути, то и ели, но отощали здорово. Я ещё был ничего, видно, покрепче товарища, а он не мог и километра пройти, не отдохнув. Шли по направлению к своим. Ночью — по звездам, днем — по солнцу. Однажды услышали голоса, и пришлось убегать. Бежали изо всех сил, но сил было мало. Слышим — нас догоняют. Но вдруг понимаем, что один голос, женский, нас окликает. Это была пожилая пара. Женщина нас обнимала, плакала, а её спутник все чего-то

говорил по-своему, всё чего-то показывал руками. Наконец мы поняли, что их сын воюет против нас. Они попросили подождать, сказали, что принесут еды. Голод заставил согласиться. Примерно часа через полтора вернулись с корзинами, полными продуктов. Это время, пока их не было, нам показалось ох долгоньким... Мало надеялись на удачу, думали, приведут кого-нибудь, и опять — на дыбу. Они же поняли, что мы беглые. И вдруг такая радость. Мы их обняли, расцеловали, как будто своих родителей. Опять мужчина много говорил, о чем-то просил. Наверное, о сыне: если встретим, чтобы помогли. Я обещал. Они, кажется, поняли: закивали головами, заплакали.

Иван Михайлович много рассказывал о войне, больше не о себе, о других, и каждый эпизод заканчивал словами:

— Будь она проклята, эта война!

В сумерках к Ивану пришел Василий, совсем недавно тоже возвратившийся с войны. Сидели, толковали о разном, вдруг заходит Ефим Сергеевич:

— А! Оба братика вместе, вот и повидаюсь заодно. Иван Михайлович, не обессудьте, не смог не зайти, не сдержался. Иду мимо и смотрю — у тебя целая поленница дров стоит, не поверил своим глазам. А ведь моя Авдотья лавки в доме и те спалила, присесть не на что. Не только поленницы, а и полена-то не найти во всем дворе.

И тут же с усмешкой добавил:

— Ну и баба у тебя, Иван Михайлович, не баба — конь. А сама-то вся с напёрсток. Поистине говорят: мал золотник, да дорог!

— Маленькую-то хвали, а на большую воз вали, — уточнил Василий.

— На твою, долгую пряху, на Татьяну, — сказал Ефим Сергеевич, — навалить-то можно, да не прытко разбежится. Тоже небось зачухалась без тебя. А ведь эта... ну и баба, прямо сказать, молодец, Пелагея.

Ивану не нравилась лесть Ефима Сергеевича. Иван его и раньше недолюбливал. Чувствовал в нём угодничество, возможность пойти на обман, от такого и тайного подвоха можно ожидать. Одно слово — из породы олегаев.

— Ступай домой, Ефим Сергеевич, отдыхать будем.

Наконец-то остались Иван и Поля одни, дети заснули.

— Настала моя пора впрягаться в работушку, — сказал ласково Иван, — а ты, Полюшка, отдыхай малость. Намучилась, бедная, знаю. Ох, намучилась...

Видел Иван в радостном лице Поли следы многолетней усталости.

Поля робко прижалась к нему, гладила его руки, плечи. А слёзы от счастья, от радости, что её Иван снова с ней, эти благодарные Господу

слёзы сами — тихо, без голоса — текли по её розовым заветренным щекам.

— Не реви, Полюшка, ведь главное, что живой я и вы все живы. А ещё и самому не верится, что жив, что вижу тебя, наших девочек. Ох ведь и тосковал же я по вам. Поживём ещё, мать, поживём! Любонька-то как подросла, ведь уходил на войну, ей всего один годик был, а сейчас пять. Меня как-то чуждается, не привыкла ещё. А Манюшка сразу узнала и кинулась на шею своему тятьке.

— Ей тогда было уж пять лет. Она сильно тосковала по тебе. Подолгу сидела около окошка, всё тебя ждала. А случись если пригрожу когда, так найдет твою рубашку, прижмет к себе и жалуется как бы тебе на меня. Долго, почти год всё ждала тебя, со слезами по тяте спать ложилась.

Иван подошёл к постели Манюшки, взял девочку на руки, расцеловал её, сонливо и счастливо прижавшуюся к нему:

— Птичка ты моя! Такая-то ты у меня крошка и так умела ждать своего тятю.

— Да что с тобой, Иван, она ж не выспится!

— Успеем выспаться, ещё жить будем, мать, как теперь заживём!

И началась жизнь сызнова.

НОВОЕ И ПРЕЖНЕЕ

В доме, как прежде, был хозяин! Пелагея высвободилась от всех мужских забот и мужского труда. Казалось бы, только жить да радоваться. Но нет. Всё что-то не так было, что-то ушло, прежнее, спокойное. Что? Не могли понять ни Иван, ни Пелагея. Какой-то внутренний страх, ожидание какого-то незримого большого горя мучило их. Да и деревня вся жила в непонятном напряжении. Многое изменилось в порядках, в отношениях людей друг с другом. Исчезла прежняя доброта, доверие, искренность. С каждым прошедшим днём уходила из жизни радость.

— Ваня, я думала, только в нашем доме так низко повисли над нами потолки. Да нет, смотрю — и люди-то все прижухли, разговаривают тихо, почти шёпотом. Встречаются, а в глаза друг другу не смотрят. Все какими-то чужими становятся.

— Новая власть, Пелагеюшка, другие, непривычные нам порядки, вот и приглядываются люди, принюхиваются. Одним, может, не по сердцу это новое, а другие кумекают, как бы скорее ухватить лакомый кусочек, воспользоваться этой кутерьмой.

Иван помолчал, дал себе время помозговать, продолжил:

— По мне так вот и разницы большой нет. Раз произошла революция, значит, сделал это человек с большим умом, а не какая-нибудь бестолочь.

— Вот и я мыслю, — подстала в тон мужу Пелагея, — чего к новому-то принюхиваться, небось хуже не будет, а для нас, крестьян, и тем более. Как была земля, так она и есть земля, а нам пахать да сеять нужно, работать на земле.

Однако вскоре дворы разделились на бедных и богатых. Иван был доволен, что его причислили к богатым, а не к бедным — нищедранцам и лодырям. Все, кто умел и хотел работать, трудиться до пота, не жалея своего горба, — люди богатые.

Стали устраивать сходки, где решали вопросы о земле, о её переделке. Естественно, одни роптали, другие же радовались. Запущенные участки бедняков, неудобренные, непропаханные, отдали «богатым», а их, плодородные, — «беднякам».

Не одному Ивану пришлось расстаться со своей делянкой.

— Не тужи, Иван Михайлович, — сказал сосед Андрей Иванович с улыбкой, по-дружески успокаивая, — да мы и эту земельку-матушку накормим, напоим, дадим отдохнуть, и она нам воздаст. Воздастся!

Засучив рукава Иван с Пелагеей, как за малым дитем, начали ухаживать за новой делянкой. Другая делянка Ивана Михайловича, засеянная клевером, осталась нетронутой, неделимой. На неё не позарились. Она была расположена на осырке, где были грядки. Ниже грядок — баня, дальше — речка. Между речкой и баней была свободная земля. У других на такой же земле росла высокая трава, ягель, колокольчики и другие полевые цветы. Иван же нашёл этот участок пригодным, распахал его, засеял клевером.

— Место, Поля, низкое, земля плодородная, а главное, клевер будет опыляться осами, которые поселились у нас в омялье, — сказал Иван жене.

Около бани стояла высокая осина, годами собирались её спилить, пока она не нашла для себя подходящее применение. В бане мяли лён, а омялье-костигу выбрасывали около осины. По-христиански осина — чертово дерево. Когда куча стала огромной, наверху появились осиные гнезда. Трудно было понять, когда они появились: до клевера или после. Мы, дети, боялись ос, часто разоряли их гнезда, но тятя нам объяснил:

— Эти труженики нам оплодотворят клевер, чтобы было много красных цветочков. А пчелки это сделать не смогут, потому что у них короткие хоботки. Клевер, дети, тот же мёд для нашей скотинушки.

И так мы оказались с хорошим урожаем, с клевером для скотины.

К этому времени у Ивана и Пелагеи родились ещё две девочки, Елизавета и Александра. Александра — это я. Старшие нянчились с младшими. Мария была уже помощницей и в доме и в поле. Учиться ей было некогда. Да и школы в деревне не было, ходили в село Высокое за четыре

километра. В те годы и ученье-то было не в моде. Дни и недели сложить вместе, так не будет года учёбы Марии к её семнадцати годам. А вот Люба была охотлива к школе, редко пропускала дни учёбы.

Настали дни Великого поста.

— Время поста, — говорил батюшка, — это духовная весна для души. Земледельцам приятна весна тем, что они видят, как земля украшается цветами, как повсюду покрывают её, подобно разноцветной одежде, произрастающие травы. А другим приятна весна постом, тем, что она успокаивает волны безумных желаний и приготовляет нам венец не из цветов, а из даров духовной благодати.

Пелагея любила время поста, соблюдала пост все семь недель до Пасхи. Она умела и всю свою большую семью накормить постным.

Воскресение Христово в доме Ивана Михайловича всегда встречали с восторгом. По всем правилам христосовались. Тятя и старшие, Мария и Люба, с вечера уходили в церковь. Крестили куличи и яйца. Ровно в двенадцать часов, в полночь, под звон колоколов и молитвенных песен встречали Христа, приветствуя друг друга: Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!

Молящиеся возвращались домой радостные, с тихим внутренним светом. Всходило солнце, освещая идущих домой богомольцев яркими теплыми лучами.

Когда мы, дети, просыпались утром, на столе видели красные яйца. Мама хлопотала у печи. По всему дому особый запах: сдобы, мяса — не надышишься.

Тятя гладко причесывался, смазывал до блеска чем-то волосы, а борода у него теперь была пушистая, окладистая. Обычно каждый раз в этот день он надевал новую рубаху, под круглый поясок с кистями. Садился за стол первым, с ним рядом садились мы, а на другом конце стола — мама. Перекрестившись, начинали разговляться. Били яйца, менялись друг с другом и целовались. Сестры постарше стеснялись с тятей целоваться, да и борода его им мешала, а он, видя это, шутя целовал нас всех по нескольку раз, приговаривая:

— Ведь радость-то сегодня какая, девчонки! Христос Воскрес!

После нашей трапезы мама запевала молитву:

— Воскресение Христово видевши, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному...

Тихо подпевал тятя, потом Мария и Люба. А у меня, помню, душа замирала: как все божественно, свято, прекрасно!

Выйдя из-за стола, мы бежали во двор, на качели. Тятя их повесил ещё вчера, в тайне от нас. У нас, как у взрослых, были свои качели.

Для взрослых качели висели по всей деревне на берёзах и специальных столбах. Качались парами на ногах, девушка и парень. Мы с подружками думали, что это все женихи и невесты. Качались и молодые тяти и мамы. Наша мама не качалась, она говорила нам:

— Наш отец очень сильный, и я боюсь, что он так раскачает качели, что забросит меня на самую верхушку берёзы.

Как-то по-другому, но жизнь в деревне снова налаживалась. Мужик — что ему! — всегда соха да борона — паши, борони.

Появились новые праздники. К 7 Ноября и 1 Мая иногда приезжал кто-то из властей города Яранска.

Вся деревня в праздники выходила на улицу, с песнями и гармониками шли по всей деревне. А в конце, на лугах, молодёжь устраивала гулянья. Церковные праздники отмечались, как и прежде. Особенно ярким был Троицын День — один из главных праздников православной церкви.

— Величие этого праздника, — читал проповедь отец Серафим, — в том, что Господь наш, Иисус Христос, исполнил обетование, данное Им своим ученикам. В пятидесятый день после Воскресения Христова Святой Дух сошел на апостолов. Пышно расцветает природа, её богатое убранство, каждый цветок напоминает о Спасителе нашем. Это Он создал эту красоту, дал нам Святые храмы. И мы стоим перед Святыми образами, украшенными земными ветвями молодых берёз — нашего родного северного деревца — через листву которых приветливо мерцают лампады. И мы славим Бога: Благослови еси Христе Боже наш!

«Мы веровали, — говорила мама, — что Вседержитель внемлет нашему молению и соблюдит нас силою своею, и вселит в наши души благодать свою. Много обычаев и преданий в этот день: девушки плетут венки, водят хороводы, гадают — все это из глубокой древности. Служили молебны перед каждым двором. Все вокруг украшается зеленью и цветами. К домам и воротам прибивали ветви берёз. В руках у каждого человека был небольшой букет из полевых цветов. Не выразить словами внутреннюю радость, душевное ликование... Охватывало всех! А на другой день, — продолжала мама, вся сияя своим уже стареньким личиком, — поднимешься еще до восхода солнца, во всем теле какая-то легкость, как будто крылья выросли. Хочется бежать, лететь, хочется весь мир обнять, так много сделать доброго и для себя, и для всех!»

В 1924 году умер Ленин. Собрали всех в избе-читальне. Сообщили печальную весть. Жалели Владимира Ильича, иные плакали. В дерев-

не большинство людей были безграмотные, однако в этой избе-читальне изредка их собирали и рассказывали о делах Ленина и его жизни. Мужикам было понятно одно, что он был за простой люд и много трудился, чтобы им жилось лучше. Крестьяне, не видевшие другой жизни, и предполагать не могли, что их ждёт впереди. Да и что значит жить лучше? Есть земля, есть скотина, есть крыша над головой — чего ещё желать крестьянину?

Дед Архип, самый старый житель деревни, говорил:

— Лучшего не ждите, мужики. В Евангелии сказано, что вместо наших коней по полям будут ползать железные кони и летать будут птицы, тоже железные.

Иван этому не верил, но и выдумать чего-то другого для будущей лучшей жизни не мог.

В 1926 году семья Ивана Михайловича состояла уже из семи человек. Родилась последняя его дочь, Аня.

К старшей, Марии, стали приезжать сваты.

— Мне стыдно, — говорила Пелагея, — что у меня, у будущей тещи, ребёнок в люльке.

— А чего тут такого? — улыбался Иван Михайлович. — Ты это брось, стыдно. Не старуха, поди, ты у меня. Всего-то тебе тридцать девять. А вот подумаем да ещё надумаем. Где пяток, там можно и десяток.

Пелагея слегка отмахнулась от мужа, подошла к нему поближе и тихо, как по секрету, шепнула:

— Помалкивал бы уж, се́дко ты мой.

— Се́дко? — удивился Иван. — Это для меня что-то новое.

Он подошёл к печке, в которую было вделано зеркальце, стал внимательно рассматривать свою голову, погладил усы, бороду. Какой-то особой, мягкой, не знакомой ранее Полине походкой отошёл, помолчал и согласно кивнул:

— Да, мать, седина-то есть. А ведь всего-то тебя постарше на каких-то три годочка. Зато ты у меня молодец. Смотрю на других и сравниваю с тобой. Ни одной нет, чтобы была равной тебе. Все уже старухи.

Потом Иван сел поближе к Пелагее, по привычке оперся руками на колени, низко наклонился. Это означало, что дело шло к серьёзному разговору. Пелагея в подобных случаях как-то вся замолкала, наполнялась скрытой тревогой.

— Нравится мне, Полюшка, больше всех женихов у Марии Миша. Правда, далековато деревня, но это не беда, зато уж гостями будут дальними и желанными. Других не надо. Зятем будет только он.

Этого зятя, этого бесценного человека с благодарной молитвой будет вспоминать, а позднее и поминать вся наша семья, во всю жизнь всех её членов. Так много он сделал для нашего спасения. Миша Винокуров — ой красавец был: черноглазый, стройный, не пил, не курил. Погиб он в самом начале войны с фашистами. Мария осталась с тремя детьми.

НАЧАЛО КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Прошло ещё два года. В 1928 году в деревне началась коллективизация. Приехал из Яранска уполномоченный, с участием местных активистов собрали всех на сход. Уполномоченный кратко объяснил слово «колхоз» и долго говорил о том, каким будет колхоз, как не будет ни одного единоличного двора, какими будут люди, как очистят деревню от помещиков и кулаков, а кулаков как класс вообще уничтожат.

Собравшиеся слушали: будет — не будет, но ведь ничего понятного на сегодня или завтра сказано не было, а слова «выгоним», «уничтожим», «очистим» резали уши, будоражили. Сначала молчали, потом зашумели, заспорили, кто как и что понял, дошло до матов, до кулаков.

— Тихо! — закричал уполномоченный. — Товарищи! Может, не все поняли, что такое колхоз, то я разъясню: земля и скот будут общими, и каждый колхозник будет болеть душой не только за свою скотину, за своё поле, а за всю и за всё, что есть в деревне.

На середину круга вышла женщина, поклонилась оратору и окружающим и сказала:

— Для нас, простых крестьян, не ясно, невдомек нам, как это общее, кто это придумал и зачем?

Уполномоченный наклонился к активисту-олегаю, спрашивая, кто эта женщина, как её фамилия, к какому классу относится.

— Я — Наталья Васильевна, мужик мой — Спиридон Григорьевич. Мы, кажись, середняки или ещё кто-то, но не из бедных, нет! Есть у нас и скотина и земелька. Вот все мы, бабы и мужики, не уразумели об обществе. Ну, земля, куда ни шло, она без движения. А скотина? Значит, кто-то придет в мой хлев, выдоит мою коровушку, а я с дойником — в другой двор, вдруг и там уже подоили, я — в третий...

Весь сход засмеялся.

— А бабы тоже будут общие? А как скотину будем кормить, тоже обществом?

Уполномоченного и Олегая окружили другие активисты, кто-то предложил:

— Ишь ты, ей невдомёк! В кулаки надо её причислить, найдем, за что. И выслать из деревни, чтобы под ногами не толклась.

Уполномоченный молча одобрительно кивал.

Не пройдёт и полгода, как Наталья Васильевна останется одна. Её сына и мужа, Спиридона Григорьевича, столько помогавшего солдаткам в лихие военные годы, вышлют. И бедная Наталья до конца дней своих ничего не узнает о них, как в воду канувших.

Наш сосед Михайло Михайлович тоже вышел вперёд. Все умолкли, уважая этого человека. Каждый знал, что Михайла-то Михайловича нужно послушать.

— Мы же все друг друга знаем, и у кого какая скотина, знаем. У одних — скакун, у других — кляча-доходяга. Олегаевщину мы к скотине не допустим. Кормить обществом? Боюсь, что очень скоро все передохнут. Не мешало бы кое-кому над этим подумать. Это же чушь собачья. И ворота припру двумя кольями, никого не допущу до своей скотины.

Уполномоченный и активисты переглянулись.

— Это голос прямого кулака, — сказал уполномоченный. — Так вот, мужики, голосовать не будем: кто за, кто против. Сознательные крестьяне сегодня же напишут заявление о принятии их в колхоз, а кто может и до завтра подумать, до утра.

Тут же несколько мужиков кинулись писать заявления. Им терять было нечего, у них ничего и не было: ни земли, ни скотины. Были заявления и на другой день, но большинство мужиков не согласились с такой формой хозяйствования — ни сегодня, ни завтра, ни вообще...

Дворы разделились на помещиков (никто из нас в нашей деревне никаких помещиков в глаза не видел), кулаков, середняков и бедняков. Кулаки — более зажиточные семьи. Это те, кто трудился от зари до зари, кто умел работать и вести хозяйство, кто не ленился и хотел жить по-людски.

Вначале мужики-кулаки были довольны тем, что кем-то их труд замечен, что справедливо всех разделили на четыре ранга. Но скоро, очень скоро они поняли весь ужас этого разделения.

Власть в деревне вся состояла из местных, деревенских, кого до революции и за людей не считали, кого называли голоштанниками, лодырями, олегаями. Трудиться эти люди не хотели и не могли, жили беззаботно: есть что выпить и чем закусить, и ладно. Жили тем, что Бог пошлет. Пословица «На Бога надейся, а сам не плошай» не о них и не для них.

В праздники каждый семьянин стремился как можно лучше одеться, разодеть детей, чтобы душа радовалась. А у этих людей в душах была одна зависть — черная, тайная.

Слышала часто Пелагея:

— Говорят, твои девчонки в церкви стояли в первом ряду весь молебен. И нарядней их никого не было, даже из городских.

Так ехидно шипела Матрёна, жена Митрия Олегая.

— Где было свободное место, там и стояли, — отвечала Пелагея. — Вроде бы никому не мешали. А то, что говорят — это лучше, есть и такие, о которых и говорить-то нечего, вот это куда похуже. Сколько тебя знаю, Матрёна, ты всегда норовишь меня кольнуть. Что ж желчи в тебе столько? Ты же давно должна убедиться, что на ваши злые языки я и виду не подаю. А если и впредь будешь меня задевать, я смогу ответить, будь уверена.

Матрёна скривила презрительную улыбку:

— Недолго вам барствовать на деревне. Всех вас поизведём!

Не могли эти люди переносить тех, кто живет лучше их, кто умнее их.

И вот пришло время, когда можно было им выплеснуть из себя всю копившуюся годами ярость.

Пришла власть к тем, кто был ничем.

И началось гонение. Разуму человеческому не постигнуть того, на что оказались способны люди по отношению к другим людям, которые никого никак не трогали, не обворовывали.

Кулаков высылали и по одному, и семьями, с полной конфискацией имущества.

Кажется, только вчера сидели на свесе (площадка у входа в амбар) с Савватием, порядочным человеком, а сегодня его и семьи его уже нет — выслали. Нет многих.

Трудно было понять, что творится. Светопреставление. Жаловаться некому. Своими силами сопротивляться бесполезно. Надежда у каждого была на то, что все это временно, что там, наверху, разберутся, что не может закрепиться такое чудовищное бесправие.

Вся деревня на дыбах. Даже те, кто вступил в колхоз, были против такого произвола.

Ликовали одни активисты, рвались к власти, опьянели, очумели от власти: что хочу, то и ворочу, я и есть Советская власть.

Терпению настал конец, взбунтовалась вся деревня. Активисты испугались, срочно собрали всех, как и раньше, посреди деревни.

Вдруг неожиданно для многих выступил Ефим Сергеевич:

— Что это за колхоз, как же понимать? Согнали скотину к нам на двор. А на кой ляд она нам? Кому за ней ухаживать? Моя баба наотрез отказалась. Для меня, говорит, хватит своей скотинки.

— А что за мода высылать людей? — спросил бедняк Никита Петров. — Для чего, кому они помешали? Если вам, активистам, нужно добро человека, так отымите, это вы можете. Дом понравился — возьмите дом. А высылать-то зачем? Кто дал такую команду? Смотри-ка чего творят, мужиков в деревне не остаётся. Одни вы, олегаи, скоро останетесь. А пользы от вас?

Активисты мялись, не знали, что делать. Вышел в середину Митрий Олегай, запросил тишины:

— Дайте же мне кое-что растолковать вам. Ведь слово «колхоз» означает коллективное хозяйство...

— Мы уже это слышали. Вот и загоняй скотину на свой двор. Пусть твоя Матрёна подол-то подберет.

— А чего ты, Ефим, лишнего плетёшь? Ишь ты, баба отказалась.

— А ты кто такой, что людям рты затыкаешь? — закричали вокруг.

На шаг вперёд Олегая выступил активист Афанасий.

— Товарищи, вчера поздно вечером приезжало начальство из города, привезли бумагу, где сказано, что Митрия Олегаева назначили председателем колхоза. Похлопаем.

Активисты похлопали. Олегай продолжил:

— Построим скотные дворы, на поля наши придут трактора. И жизнь наша будет иной. Думаю, выкриков больше не будет. А кто нам дал право высылать кулаков, ответим позже. Мы ещё кое с кем здесь поговорим, объясним, чем здесь пахнет...

Иван Михайлович и несколько мужиков ушли с круга по домам.

— Ещё когда-то что-то построят, ещё где-то в сказках эти трактора, а они уже рушат то, что имеют, — размышлял Иван Михайлович.

— Ох, беспутные, — соглашался Михайло Михайлович, двоюродный брат Ивана Михайловича. — Нам, конечно, не жить в этой коммуне, но и по-другому жить эта олегаевщина нам не даст. Ты видел, как Митрий грудь выпятил, когда Афонька его председателем назвал?

Иван Михайлович зашёл к себе во двор, присел на крыльцо, горько сказал кому-то:

— В пропасть спустят всю деревню, изрешетят — вот в чем беда. Что же за власть это, если таким доверилась?

В начале 1929 года раскулачили и Ивана Михайловича. Под метёлку выгребли всё из амбара, угнали скотину. Оставили только одну корову и лошадь, чтобы вовремя мог платить налог. Каждый единоличник, а также каждый кулак должны были платить налоги: определённое количество хлеба, мяса, молока, шерсти, яиц, даже сена.

Иван Михайлович свез в город всё, что можно было продать. Первые налоги выплачивал, а если немного задерживал, то сажали его в холодный амбар на целые сутки, порой при температуре минус сорок.

Чёрные дни наступили. Спокойная жизнь кончилась навсегда. За последующие неуплаты в срок тятю куда-то увозили. Не было его по неделе, а то и дольше. Мама ничего о нём не знала, плакала, скорбела.

Приехали Мария с мужем Мишей, успокаивали маму, но ничем помочь не могли.

— Не в налогах дело, — говорил Миша, — а в том, что вся эта олегаевщина сломить Ивана Михайловича хочет, на колени поставить. Не терпят они, когда видят, что не одолели, не поклонился, не пал духом, а главное — не обнищал.

— Да что это я все реву, вас сморила с голоду, — спохватилась мама, но Люба с Лизой уже несли самовар. Мы, все пятеро сестер, вновь были вместе, и любовь наша к доброму Мише как-то объединяла нас и успокаивала.

— Ты, мамаша, не плачь при активистах, — советовал Миша. — Не пожалеют, а только порадуются. Натешатся досыта и отстанут. Ведь мы, мама, верим в Бога. Господь видит ваши слёзы и скорбь и воздаст, кто что заслужил.

— Спасибо тебе, дорогой мой зятёк, поддерживаешь ты меня. Стерпеть надо, Господь вон какие муки вынес, а нам, прав ты, и подавно терпеть надо.

На этот раз Ивана Михайловича не было почти две недели. Когда он вернулся, Пелагея в ногах у него валялась.

— Надо что-то делать, Ваня, что-то делать. Нельзя больше терпеть, замучат они тебя, до смерти замучат. Не дай Бог сиротами ты нас оставишь. Что я с ними, с четырьмя девчонками, делать буду? По миру пойдем, так ведь ещё и не подаст никто.

Пелагея то нервно ходила из угла в угол, в ужасе ломала пальцы, то садилась рядом с Иваном, прижималась к нему, а то уводила его в упечь и шёпотом рассказывала, кого из деревни еще сослали, кого увезли в Яранск в тюрьму.

— Михайло Михайлыча сильно били. Он прямо им сказал, в морды их бросил: «Были голодранцы, лодыри, ими же и останетесь, напьётесь нашей кровушки и захлебнетесь».

— Били, и все смотрели? И никто не заступился? Небось опять дело рук Олегая? — возмущался Иван Михайлович.

— Все тут прикладывались, их было человек восемь. Какой тут заступиться! Ведь война целая была. Страшно вспомнить. Ребятишки кричали, цеплялись за отца, так Афанасий с Колькой хромым схватили обо-

их в охапку и кидком бросили матери. Увозили поздно вечером. С собой ничего не велели брать. Аграфена успела кое-что на детей накинуть, а оставшуюся одежонку завязала в шаль и понесла на телегу. Так Колька у неё выдернул и отбросил в сторону. А я вижу, он отвернулся, схватила этот свёрток и скорее бросила на воз Аграфене. А Михайло лежал в телеге, плевался кровью. Сапожищами пинали его и в грудь и в живот. Всё, наверное, там ему отбили. Звери, истинные звери. Ты-то хоть, Ваня, скрепись, если видишь, что не так. Бог даст — переживем. Куда увозят людей, суждено ли им вернуться — никто не знает.

— Вспомни! — шепотом кричала Пелагея, стараясь в чём-то убедить мужа. — Такое же бесправие в гражданскую было. Вспомни, Ванечка, ты, кажется, дома был, когда рассказывал мой тятя-покойничек, как застрелили его брата.

Сидели старички на завалинке под окошком. Подъехали к ним конные и спросили: «Вы за кого, старики, будете: за красных али за белых?» Старики наши растерялись, молчат. Один конный ткнул плеткой дяде в грудь: «За кого?» Чтобы не ошибиться с ответом, дядя его спрашивает: «А ты сам, сынок, за кого?» Конный сделал кривую рожу и говорит: «Может, и за белых». «Ну, тогда и мы за белых», — говорит дядя. Конный вытащил наган и выстрелил дяде прямо в грудь. И ускакали они, смеясь.

— Вот и сейчас пришли такие времена, Ванечка. Наверно, скоро очередь и за нами. Я ведь без тебя свету вольного не вижу, рученьки мои опускаются. Как чумная бегу во двор и тебя зову, а то померещится мне, что ты на гумне, туда бегу и там ищу тебя. Господи! Да когда ж это кончится?

Пелагея опускалась перед Иваном на колени, начинала рыдать:

— Я ещё не нажилась с тобой. Только что три года тебя ждала. Ещё не нагляделась на тебя, а нас опять разлучают. Ты хоть бы побил меня, да посильнее, чтобы во мне появилось зло на тебя.

Иван Михайлович улыбнулся:

— Говорят, Полинушка, милого побои недолго болят. Как же тебя прибить, зелёный ты мой корень?

Так он называл её в минуту самой нежной нежности и самой горькой жалости и успокаивал:

— Да ты напрасно так убиваешься. Меня ведь, когда увозили, не мучили. Гадко кормили, правда. А работа была посильная. Только вот за вас тоскливо. И ночи плохо спал, ломал голову, как налоги платить. Продавать больше нечего.

ИМУЩЕСТВО

— В 1907 году, — вспоминала Пелагея, и рассказы её крепко запечатлелись в нашей дочерней памяти, — когда вышла замуж за вашего тятю, в дом я пришла одиннадцатая. Свёкор, две золовки, у дяди Васи, брата вашего отца, с тетей Таней четверо детей. Надо было делиться на две семьи, строить новый дом.

Братья, Иван и Василий, дружно взялись за подготовку леса. Навозили брёвен, напилили тёсу, половиц. Иван сделал рамы, двери. Дядя Вася с сыном ездили в город, заготовили разные краски, всё, что нужно для окон и дверей.

Эта подготовительная работа длилась около трёх лет. Оставалось купить кирпича для фундамента и печей. Иван и Василий решили сделать кирпич сами. В огороде вырыли большую яму. В конце грядок, за баней — речка, а на другой стороне — глиняная гора, выше — лес. Вот в этой горе и вырыли яму. Обжигали кирпич в самодельных колодках. Воду таскали из речки. Все мужики месили глину.

Отстроили дом с временными небольшими сенями, чтобы было где обмести ноги от снега. Дом отдали Ивану, так как он был хорошим плотником и остальное сможет всё пристроить сам.

Стали делить имущество. Раздел семей и имущества был вопросом серьёзным, и решить его без старшего в семье, отца Ивана и Василия, не могли. Решительное слово было за родителем, и не в праве был кто-либо его оспорить. Дед к тому времени был уже больной, но нашёл в себе силы слезть с печи.

— Думаю, надо делить на четыре пая, — сказал дед Михаил, — а кто с кем будет жить, тот свой пай отдаст в это хозяйство.

Вроде бы правильно предложил дед, так вначале и оба брата думали, но в конце дележа Василий остался недовольный, скорее всего, это было его притворство. Вот у моего Ивана истинно радости было немного.

— С кем ты, тятя, остаёшься? — спросил Василий отца.

— А вот если бы, Василий, Пелагея была с тобой, то и я бы с тобой. Ну а раз уж нет, то придется тебе, Иван, взять меня к себе. Хотя ты и горяч у меня, зато уж я с Пелагеей. Не сердись на меня, Татьяна, — сказал дед жене старшего сына, — ты ведь знаешь, что у нас с тобой никогда не было ладу.

— А вы? — спросил Василий у Ольги и Анны.

Они в один голос завыли:

— Возьми и нас, Ваня, мы тоже хотим с Полей, да и с тятенькой вместе.

Татьяна заплакала:

— Что же нам тогда достанется на один-то пай?

Дед Михаил порешил изменить первое условие и поделить не на четыре пая, а на три: два пая Ивану и один Василию. Иван с Пелагеей с большим нежеланием на это согласились.

Поделили всю скотину и сбрую. Когда делили овец, то одна оказалась неделимой, непарной. Татьяна с Василием захотели взять её себе, мол, у нас детей больше.

Дед Михаил сурово посмотрел на них, нахмурился и громко, брызгая слюной, выкрикнул:

— Это Ивану. И не серди меня, Василий, не будь наглецом и бесстыжим. Три души повесили на Пелагею — это ты понимаешь?

Дед Михаил встал с лавки, подошёл к Татьяне и многозначительно погрозил ей пальцем:

— Ты ужо гляди, гляди да не ослепни. Нетель берите вы, Иван, а на следующий год она отелится, тогда телёнка отдадите Ваське, а вы, Пелагея, держите две коровы.

Все это было за двадцать лет до раскулачивания. Когда Иван и Василий были на войне, яму, где обжигали кирпич, забросали разным дерьмом, колодки растащили, какие переломали.

Когда вернулись братья с войны, Василий — случайно или стремился к тому — прослышал, что в какой-то деревне, километров в десяти от нашей, живёт хороший пимокат. И вот как-то с утра пришел Василий к Ивану:

— С уборкой закончили, Иван, к зиме вроде бы как приготовились, есть свободные денёчки. Давай съездим до пимоката, присмотримся, да, может, и займемся?

Братья оба были горячи до работы и жили меж собой дружно. Съездили — и освоили, научились. Вот и зима в валенках, а лапти до лета — в сторонку.

— Иван Михайлович купил шерстобойную машину, — рассказывала мама. — Я ее помню. Это круглый вал, длиной чуть больше метра, весь в железных шипах. Установлен он в станок, а по бокам ручки, которые надо было крутить, чтобы вращался вал. Мы, дети, даже я, бросали под вал шерсть, а тятя с мамой или кто-то из старших сестер крутили ручки.

Дядя Вася тоже пользовался этой шерстобойкой. Вся деревня удивилась чуду чудному: Василий Михайлович и Иван Михайлович сами

валенки валяют. Да ещё какие — игрушки. И семьи обоих братьев в валенках, даже дети.

Олегаи, конечно, сгорали от любопытства: как могли Миндеровы постичь такое искусство? Одни говорили, что их на войне научили, другие предполагали, что научил их отец Пелагеи, так как много лет назад в деревне, где родилась Пелагея, кто-то пимокатом был.

— Поля, может, научить Пашку, мужика Анны? — спросил Иван.

Пелагея поджала губы, вспомнила то тяжёлое для себя время, когда она снаряжала приданое для золовок, Ольги и Анны:

— Как хочешь, дело твое, и сестра твоя.

Пашка раза три пришел, посмотрел на эту нелегкую, пыльную работу и сказал:

— Не для меня работа, не крестьянская, да лёгкие у меня слабые.

— Ну что, — сказал Иван, — каждому свое.

ОЛЕГАЕВЩИНА

...И вот настало время за всё держать ответ: за сбрую с бубенчиками, за кирпичный завод (так назвали в описи яму для обжига кирпича, когда взялись раскулачивать Ивана Михайловича), за шерстобойную машину.

КРЕСТ-НАКРЕСТ

Однажды поздно вечером какой-то добрый человек предупредил Ивана, что утром будет очередная высылка кулаков и он в списках. Тут же папа скрылся.

Мама всю ночь плакала, молилась. Только прилегла к утру, как услышала, что к воротам подъехала подвода. Она вскочила с кровати, надернула на себя юбку.

Дверь распахнулась, и вбежал Митрий Олегай. Кинулся к постели, заглянул за перегородку, где спали мы, девочки, подскочил к маме, закричал:

— Где хозяин?

Согнулся над ней. Мама сумела спокойно улыбнуться, выпрямилась ему навстречу:

— Что это ты, Митрий, совсем ночами не спишь, что ли? Поглядика, ещё ведь не рассвело, весь добрый люд спит, а тебе зачем в такую-то рань понадобился мой хозяин? Как только Матрёна тебя выпустила из-под тёпленького одеяла?

— Ты не охмыляйся, Пелагея, не охмыляйся. Лишку зубы-то скалишь.

В избу зашли ещё два активиста.

— Нигде нет, всё облазили — и сеновал, и хлева.

— Сбежал...— Олегай зло выматерился.

— Где Иван, мы тебя спрашиваем? — заорали все в один голос, подступив к маме вплотную. — Кто предупредил?

Мама внимательно посмотрела на Олегая. До чего же он уродлив: навис над ней крючком, скулы торчат, кадык бегает, из полуоткрытого рта торчат чёрные гнилые зубы.

— Не орите. Я не глухая. У меня девчонки спят. А вот где мой хозяин, я у вас должна спросить. Где он? Почему не дома? Почему вы не даёте ему жить? Как звери рыскаете, ищете для себя наживы.

— Замолчи, Пелагея, ещё слово — и пойдёшь в тюрьму. А сейчас буди своих девчонок и выходите из дома.

Олегай хозяином прошёлся по избе. Всё осмотрел, везде заглянул.

«Это уж не Ивана ищет, а высматривает, чем поживиться. На подводе приехали, значит, пришли не за одним Иваном — за всей семьей», — подумала мама.

— Через полчаса вернемся. Слышь, Пелагея, чтоб было освобождено.

— Как же так? — растерялась мама. — Это же наш дом. Какое тебе дело до нашего дома? Неужели сошлёте?

Активисты вышли.

Полчаса. Что собирать? Хлеба нет. Ключи от амбара давно отобрали. Мама ссыпала в ведро оставшийся горох, в мешок — немного картошки... Вдруг остановилась, обвела взглядом избу, подошла к иконам, зажгла лампадку. Разбудила нас, поставила всех четверых в ряд. И мы все стали молиться.

Понять этого моления, понять маминого отчаяния мы, младшие, не могли. Разве что старшая из нас, Люба, уже несла на своих плечах все взрослые тяготы. Молилась и я, но не знала, что просить у Бога. Я смотрела на огонёк лампады, на маму, Любу, Лизу, которые что-то шептали. Аня, младшая, не выспавшись, капризничала, ползая вокруг.

Вдруг с шумом вошли трое мужчин, не закрывая за собой дверь. Тогда мне стало страшно.

Мама вскочила с пола, метнулась закрывать дверь, но её грубо оттолкнули.

— Девчонки ведь раздетые, Митрий, ты хоть что это? Ведь на дворе декабрь.

— Мы предупреждали, было время одеться, — весело оскалился Олегай.

Мама наспех что-то накинула на нас, и все вышли на крыльцо.

Активисты наложили на двери доски крест-накрест, забили их большими длинными гвоздями. Где взяли они такие длинные гвозди? У тяти таких не было. А как же мы теперь зайдем? Там ведь мои и Анютины куклы.

— Мама, там же мои и Анютины куклы! — заплакала я, бросилась к двери, стала стучать кулачками по доскам.

Анюта вырвалась из маминых рук, подбежала к Олегаю, толкнула его в коленку.

— Ты, дядька, похой, похой… — несколько раз повторила она.

Олегай отшвырнул ребенка, Анютка полетела с крыльца в снег. Закричал на маму:

— А ну, забери своих кулацких выродков. Ещё сопротивляются…

Трое высоких здоровых мужчин закурили, пошли от дома, о чём-то спокойно разговаривая между собой.

— Куда же нам? — трясущимися губами закричала мама.

— На все четыре стороны, — ухмыльнулся Олегай, не обернувшись даже.

Мама побежала за ними, ловила их за руки, удерживала за полушубки и, упав на колени, просила о милости.

«Всеправедный Господь карает смертью за притеснение вдов и сирот. Если услышу я вопль их, воспламенится гнев мой, и убью вас мечом…»

Как же забыли люди Святое Слово?

— Побойтесь Бога, — рыдала мама, — неужто совсем обасурманились, ироды? Ведь истинно покарает вас Господь за детей.

— Стучи, Пелагея, — сказал кто-то из активистов, — может, кто и посмеет пустить.

Олегай остановился над лежащей на снегу рыдающей мамой. Закурил, долго смотрел на неё злыми маленькими глазенками:

— Распласталась, стерва, как червь. Ещё увидим, что дальше с тобой будет.

И пошёл прочь прыгающей походкой, втягивая голову в плечи, озираясь по сторонам, не то пугаясь кого-то, не то высматривая что-то.

ЖИЗНЬ У ПОРОГА

Мама вернулась к нам, навалилась на забор и запричитала:

— Детки, вы мои детки, что мне с вами делать? Замёрзнете вы у меня. Отец, что же с нами-то будет?

Мы, закутанные Любой в платки, стояли около мамы, реснички закуржевели у нас, даже мигать было трудно. Мы видели, как мамины слёзы на щеках превращались в льдинки, и она прикладывала ладони к лицу, чтобы не прожгло кожу.

Люба подняла маму, мы все взялись за руки и пошли по дворам проситься на квартиру.

Много дворов обошла Пелагея с Анюткой на руках. Мы, как замёрзшие комочки, брели за ней. Никто нас не пустил. Все боялись. Ревут, жалеют, а не пускают.

Что за власть такую взяли над людьми олегаи? Кто дал силы им расправляться с такими людьми, как Иван Михайлович? Он никому никогда не откажет в помощи: кому надо, одолжит семян во время посева, часто без отдачи. И дом, и сохи, и бороны — все было добротное, исправное, и многие пользовались этим. Благосостояние Ивана Михайловича основывалось только на одном — на его большом труде от зари до зари, труде всей его семьи.

Несколько поколений назад носителей фамилии Олегаевы было в деревне много. Постепенно их становилось всё меньше, так как большинство наследников было женского рода и фамилия из рода в род терялась. Все олегаи были бедняки, и вот все они выбились в активисты. Теперь часть имущества Ивана Михайловича и таких же крепких тружеников, как он, принадлежала олегаям. Нахально, варварски, с издевательствами, с насмешкой они всё отнимали и делили между собой.

Шла вторая половина дня. Более семи часов мы находились на морозе. Анютка просила есть и засыпала на руках у мамы.

— Мама, зачем ты ведёшь нас огородами, здесь такой глубокий снег, даже у меня полные валенки? — спросила Люба.

— В субботу топили бани, может, в какой сохранилось тепло, — ответила мама.

Но за два дня с субботы в такой мороз в банях был жестокий холод. Обойдя несколько бань, мы все же нашли одну, где воздух был помягче. Мама завернула Анютку в тулуп, и она заснула. Мы пошли по огороду собрать каких-нибудь палочек, чтобы затопить печь, но ничего не нашли, а только ещё больше замёрзли.

Поздно вечером, окончательно обессилев, Пелагея рискнула постучать к активисту Григорию, дальнему родственнику тяти. Григория дома не было. Вышла во двор его жена Катерина.

— Катя, возьми Анютку, обогрей на печи, она совсем замёрзла, — со слезами просила мама. — Утром я её заберу.

— А где же вы-то будете? — спросила Катерина, но тут же, спохватившись, быстро взяла с рук мамы Анютку и повела нас в дом.

Спали мы на полу, около порога. Григорий пришел домой поздно, перешагнул через нас и прошёл вперед, где спала его семья.

Пелагея и Люба притворялись спящими, со страхом ожидая, что сделает Григорий.

— Господи, спаси и сохрани, — шептала Пелагея.

Было тихо.

— Значит, он ничего не сказал Катерине. Давай теперь спать. Может, выгонит завтра, может, и оставит. Как Бог даст.

На другой день Олегай узнал, что мы у Григория, пришел ранним утром:

— А ты, Григорий, не боишься кулаков-то привечать? Сочувствующий нашелся, родство взыграло, да?

— Не на улице же им оставаться, Митрий? — пробурчал из своего угла Григорий. — Ведь их никто не пустил. У меня душа не вынесла выгнать, да и Катерина вся исстрадалась. Ведь дети малые, Митрий.

— Вон ещё чего, на тулупе спят, кулацкие твари, — Олегай с силой вытащил из-под нас тулуп и пошёл к двери.

— Бери, бери, всё тебе мало! — закричала мама, вскакивая. Она схватила спящую Анютку, стащила с неё исподнюю рубашонку:

— На, возьми. И мою тебе снять?

Люба остановила ее:

— Не надо, мамочка.

И с яростью закричала на Олегая:

— Чего ждешь? Уходи.

Но Олегай остановился у двери, нагло скалясь гнилыми зубами. Мама продолжала кричать:

— Нет такой нашей вины, чтобы так издеваться над нами, над детьми — морить их голодом, морозить, убивать. Не заслужили мы такого скотского отношения к себе, понял?

Мама вдруг перешла на шёпот, с удивлением смотря на Олегая:

— Неужто не осталось в тебе искры Божьей? Придет время — сгниешь ведь, и земля тебя не примет.

Мама не слышала, что ей отвечал Олегай.

— Пойдешь... пойдешь... — вдруг услышала она. — Пойдешь сейчас же в тюрьму. За оскорбление, понимаешь ли...

Услышала и снова закричала в голос:

—— Уходи, Олегай, слышишь, уходи сейчас же!

Она подскочила к нему, повернула его за плечи, да так ловко, с такой силой, что он вывалился за дверь.

Олегай переложил тулуп на другую руку, погрозил кулаком:

— Всех мы вас... всех...

Мама захлопнула дверь, села на пол. Там сидели и мы, прижавшись к Любе.

— Пресвятая Матерь Божия, Заступница Усердная, подай мне руку помощи. Проси Сына Твоего, Бога нашего, простить мне согрешения моя. Согрешила-то я как, согрешила.

— Так ему, черту, Олегаю проклятому, и надо, — подошла Катерина и стала успокаивать: — Не убивайся. Гриня сказал, что вы будете жить у нас сколько нужно. Что-нибудь да изменится, неправда.

А мама все шептала:

— Боже, Боже! Святые бессребреники, чудотворцы, Косма и Дамиане, посетите немощи наши, отведите зло.

ЯРАНСК

Так мы прожили у порога до весны 1930 года. Чуть сошла вода, мама уехала в Яранск к тете Оле, папиной сестре.

— Приехала я к тебе, Оля, совета просить, как мне жить дальше. От Ивана никаких вестей, девчонки мои ходят в соседние деревни просить милостыню. Спасибо Григорию — приютил.

До поздней ночи Поля с золовкой думали, что же делать. Обе несколько раз принимались плакать, а на утро тетя Оля посоветовала:

— Иди, Пелагея, к самому большому начальнику. Я знаю, в каком они доме, провожу тебя. Иди и все им расскажи. Не может быть, чтобы хоть хлеба тебе не дали, твоего же хлеба, иди и не бойся, не посадят.

В моей памяти сохранились все подробности рассказа мамы о том, как была она у высоких начальников.

— Подкашивались мои ноженьки, — вспоминала мама, — когда я подошла к дверям. Вошла в дом, а там сидит военный. Почему военный, подумала я, ведь не война сейчас?

— Вы, гражданка, к кому? — спросил он.

— К начальнику.

— По какому вопросу?

— И не по вопросу я, мне надо хлеба, дети с голоду помирают.

Он спросил фамилию, дал мне кусочек бумажки с какими-то на нём словами, послал на второй этаж. Поднялась я по лестнице, там опять стол и опять военный. Я показала ему бумажку, и он меня пропустил.

Казалось, я немного вошла в себя, дрожь в руках и в голосе прошла, а тут как открыла дверь, там сидят все военные да с револьверами. Все повернулись ко мне. «Только бы не упасть», — подумала. Наверное, самый главный начальник поднялся, показал мне на стул, чтобы я села.

— Ну что, гражданка, вы нам скажете? Говорите же, мы вас слушаем.

А я и сказать-то ничего не могу. Сидят они все за огромным красным столом, на меня смотрят.

Слёзы, одни слёзы, и не могла вымолвить ни слова, какой-то комок в горле. Ничего не соображала, зачем пришла. Все забыла, чему учила Оля. Опустилась я на колени.

— Хлеба, хлеба надо моим девчонкам, они голодные, мы умираем. Они ведь не виноваты, что нас назвали кулаками.

Я, наверное, стала очень громко кричать. Помню, как несколько раз повторяла «они не виноваты».

Двое подхватили меня под руки, посадили на стул, дали воды, заговорили ласково:

— Успокойтесь, гражданка, посидите немного, а потом всё нам расскажете, кто вы, откуда и что с вами случилось?

Я рассказала все, как нас раскулачивали и за что. Сказала, что муж куда-то скрылся, боялся, чтобы не выслали.

— Вот уже полгода никаких вестей от него. Может, уже и в живых-то его нет.

Рассказала, как вывели нас из дома, и про тулуп рассказала.

Меня всё спрашивали и спрашивали, почти каждый задавал вопросы. Я вся дрожала и ревела, но всё говорила и говорила, может, чего и невпопад, но говорила правду.

— А на кирпичном заводе у вас много было работников?

Ответила:

— Немало. Приезжал мой тятя с моим братом да у Василия, брата моего Ивана, двое взрослых сыновей, да мы с Татьяной, женой Василия. Все мы таскали с речки воду, месили глину ногами, ну а обжигали Иван с Василием и мой тятя.

Сказала, что во время войны с австрийцами, когда Иван был на фронте, яму забросали разным дерьмом, а колодки растащили. Спросили и за шерстобитную машину.

Вначале я всё понимала, что говорила, а потом сильно разболелась

голова, в глазах появились какие-то разноцветные круги, затошнило. Я наклонилась к стенке, чтобы не упасть, и только успела проговорить:

— Из милости прошу, помогите...

Комната и всё, что было в ней, перевернулось, закачалось, меня вырвало. Как во сне помню: принесли мне воды, положили на три стула и сказали, что через полчаса мне будет легче и всё пройдет, что ничего страшного не случилось, просто переутомление...

Когда я лежала, они долго о чём-то говорили между собой, чему-то удивлялись, качая головами, но понять что-либо я не могла.

Потом один из них подошёл ко мне, спросил, как я себя чувствую. Я встала, легонько качнулась, но устояла на ногах.

— Дойдете до квартиры сами или проводить?

— Сама дойду,— ответила я.

— Так вот, товарищ Миндерова, поезжайте домой в свою деревню и ждите бумагу. Мы вам поможем: и в дом войдёте, и хозяин ваш вернется.

МЫ БОЛЬШЕ НЕ КУЛАКИ

Мама возвратилась из города только через три недели. Мы каждый день её ждали и плакали. Люба с утра уходила в другую деревню — кому снег перегребет, кому дрова распилит, зарабатывала на хлеб, возвращалась поздно.

Когда вернулась мама, мы узнали, что она болела и лежала у тети Оли.

Спустя неделю маму вызвали в сельсовет, мы тоже пошли с ней, боялись, что её заберут от нас.

— Ну, Пелагея, иди отапливай свой дом и живи со своими девчонками. Бумага пришла из города, вас восстановили, вы больше не кулаки. Скотину вернём.

Активисты сидели за столом, покрытым красной материей. Над ними висела тоже красная материя в каких-то буквах. Мама начала им кланяться, но Люба остановила её:

— Мама, это ж не они смилостивились, не надо.

Активисты переглянулись, а Олегай процедил сквозь зубы:

— Кулацкая закваска, сразу видно.

Первым пришёл так называемый «бедняк» Семен Васильевич. Сам здоровый, как дуб, и два сына у него, а живут хуже нищих. Окна заткнуты тряпками, ворота из жердей, как на полях, крыльцо из дощечек на плашках.

— Иди, Пелагея, за овечками-то, у нас они.

Пелагея за последние дни уверовала, что всё будет хорошо. К ней вернулось её спокойствие, манера держать себя, разговаривать:

— А как они, Сёмушка, к тебе-то забрели, никогда раньше вроде бы не путали свои ворота с чужими? — сказала Пелагея и тут же твёрдо добавила: — Так вот что, как увёл, так и приведи.

В этот же день принесли кур.

Со времени, как всё у нас отобрали, из нашего поросёнка выросла свинья, и её съели ещё зимой. Не вспомнили о Пелагее и её детях, которые в это время перебивались милостынями. Съели и спасибо не сказали, не подавилась олегаевская порода, не икнулось ей. Что же это с людьми-то сделалось, если грабежом стали жить?

Корову привела Сергеевна:

— Твоя Краснуха отелилась, Полюшка, так я уж телёночка-то себе оставила. Все же ухаживала за твоей коровой, кормила.

— Ну и молочко, конечно, попивали всю зиму, а мои девчонки ни чашечки не видали, — подстроилась Поля под нытьё Сергеевны. — Ладно, возьмите телёнка, все ведь вы бедные, а мы…

Пелагея замолкла на полуслове. Бесполезно, всё равно не поймут эти люди. Жили и хотят жить, не трудясь. А тут дьявол и послал им не своё, а заработанное чужим потом и кровью. И стали лакать они ту кровь, не побрезговали, не устрашились кары.

На другой день и телёнка привели: сельсовет узнал, приказал вернуть. И Сивку.

— Мама, ты только посмотри в окно, кто там, — крикнула Люба и выбежала за ворота.

Она бросилась Сивке на шею, обняла его, горько заплакала.

— Милый, дорогой наш Сивушка! Вернулся. Как ты похудел! Скучал без нас, да? Миленький! Тебя не пускали, не пускали домой?

Люба вытирала свои слёзы о его шею, а он покорно опустил голову и… Крупные слёзы катились из его глаз. Конь плакал.

Захар, который привёл его из соседней деревни, подошёл к коню и попытался ободрить то ли Сивку, то ли баб, собравшихся вокруг:

— Чего башку-то повесил? Когда уводили, так до Высокова оглядывался (село в 4 км от нашей деревни).

Все женщины тоже смахивали слёзы и с неприязнью косились на Захара, будто он их коня уводил, эксплуатировал, а теперь, наглец, еще и шутит.

Вскоре вернулся отец.

— Ездила ведь я, Иван, к Оле, — взялась ему рассказывать Поля. Но он её перебил:

— Все, милая, знаю. И у Оли я был и знал, что вывели вас из дому, что жили вы у Григория, только вот ничем не мог помочь вам. Очень боялся себя обнаружить, да и прознай про меня Григорий, едва ли пустил бы вас к себе.

Мы, дети, не знали, чему больше радоваться — или приезду отца, или патоке, которую он привёз. Мама разлила её в чашки, и мы макали в неё блины. Какое это счастье — патока и блины!

Всё нам вернули. В амбаре была разная крупа, мука: и ржаная, и пшеничная, и овсяная, и гороховая... И даже кадушка с топлёным маслом, но оно прогоркло.

Мы снова были вместе, снова готовы были трудиться от зари до зари. Тятя улыбался, в минуту отдыха брал кого-нибудь из нас на колени, спрашивал:

— Ну что, говорил я вам, это ещё не смерть. До смерти ещё далеко, девчонки. Ещё вас всех замуж отдадим, свадьбы сыграем. Ох, и нарожаете вы нам с матерью внуков. Вон сколько нас будет!

«АЛИМЕНТ»

Весной успели мы кое-что посадить, посеять. Ждали урожая. Но к осени что-то изменилось в отношении к нам. Один за другим опять посыпались налоги. И скоро отец вновь продавал уже не излишки, а последнее.

Опять взялись организовывать колхоз. Собрали общество, стучали в дома и звали на сходку, но не стучали к кулакам, а их оставалось всего несколько дворов, и не стучали к нам.

— Пелагея, ты бы сходила да из-за упечи послушала, о чём там говорят, — попросил как-то Иван.

Поля пошла, бабы её прятали, чтобы не увидели сидящие за столом, но что происходит, она не понимала. И ничего растолковать Ивану не могла. И что делать — тоже было неясно.

— Олегаи, они ведь и есть олегаи. Как им верить? — возмущался тятя. — Такие-то здоровые дуботелы — и все нищие. Лодыри бесстыжие.

Налоги стали такие, что скоро грозила ему высылка или тюрьма.

Один из бедняков подсказал Ивану:

— Ты бы, Иван Михайлович, написал заявление и попросился в колхоз. Куда денешься? Все равно ведь всё отымут да налогами задушат.

И Иван решился.

— Мать, а ведь и впрямь давай проситься в колхоз, правильно мне подсказал Павел Семенович, замучат налогами, а так, как все, так и мы.

— Ты хоть что, Иван? С олегаями-то, с лодырями вместе? Ведь всю скотину заберут и с голоду заморят, — не соглашалась Поля.

Редко когда тятя повышал голос, но тут не выдержал, закричал:

— Хватит тянуть рожу. Как решил, так и будет.

И тут же написал заявление:

Согласны всю скотину отдать и жить в колхозе.
Иван и Пелагея Миндеровы.

Чтобы больше не терзать себя, да и не передумать, пошёл тут же в сельсовет. Прочитав заявление, Митрий Олегай брезгливо вытер руки о кафтан и вернул бумагу Ивану:

— Чего-то не так? Листок вроде бы чистый, а ты руки вытираешь, а может, мне показалось? — спросил Иван.

— Вот будет сходка, там решим, принять тебя в колхоз али нет…

— Ну-ну, решайте, сгожусь я где аль нет.

На следующую сходку наших снова не позвали. Пелагея побежала туда, приоткрыв из сеней дверь, подслушала.

— Нам-ста такой алимент не нужен, — говорил Олегай, о нас, о Миндеровых.

Услышав это, Пелагея, не помня себя, прибежала домой:

— Иван, мы пропали, Олегай нас назвал алиментом и сказал, что нам не место в колхозе.

Иван Михайлович пошёл по деревне, кое у кого поспрашивал, что такое «алимент», но никто ничего определённого не сказал. И на следующий день рано утром запряг наш бедный тятя лошадку и поехал в село Высоково. Там у него был старый знакомый учитель. Он радушно встретил тятю, посадил его за чашку чая.

— Иван Михайлович, не тужите, ничего тут особенного нет. Элемент в данном случае — это, как бы вам сказать, принадлежность, что ли, к обществу, к природе. Тебя ведь всё равно они считают кулаком.

— Как же так, ведь меня восстановили? Всё вернули, у меня же документ есть, — возмущался Иван.

— Да, друг, восстановили, но восстановили там, наверху, а здесь своя власть. Как мы говаривали: до Бога высоко, до царя далеко — так ведь и сейчас. Вот эти низы и творят беззакония. Ошибочно поставили к власти

этих людей. Это же истинные безбожники. Очень скоро наступит время, помяни мое слово, Иван Михайлович, перегрызут они друг другу глотки. Плохо ли? У кого-то отняли — им отдали. Берите, кровососы, пейте. Установится, окрепнет Советская власть, и всех их выгонят к чертовой матери. Всех кровососов стряхнет с себя народ. Я-то не доживу, ведь с осени пошёл мне семьдесят седьмой годик. Многих людей растерзают эти звери, создадут на земле порядок более страшный, чем жуткие картины Дантова «Ада»...

Что за «дантов ад», Иван Михайлович, конечно, не знал, но при этих словах вспомнил большие картины с изображением ада, развешенные на стене у одной из его племянниц.

— Ничего у тебя не получится, Иван Михайлович, — продолжал учитель, подливая себе и гостю чаю. — Сколько ни цепляйся за жизнь, а жить не дадут. На таких, как ты, ополчился антихрист и не успокоится, пока всех не изведёт. Уезжай в город, подальше отсюда, пережди эту кутерьму.

Растревожили душу Ивана слова учителя. За дорогу домой он всё передумал, взвесил и в глубине души согласился с советом учителя.

Уезжать, скорее уезжать. Да пропади они пропадом, гори огнём неугасимым их порядки, их власть. Раньше один урядник был, а дела всем обществом решали. А теперь? Ишь как насели! Не дождаться, видно, нам, когда в деревню придёт настоящая-то власть. Уезжать!

С таким решением Иван Михайлович возвратился домой, где ждали его аресты за недоимки, побег, дальняя дорога.

Умение трудиться, смекалка, упорство помогут Ивану Михайловичу и Пелагее Фёдоровне выжить, спасти детей в это жуткое лихолетье.

Митрий Олегай недолго будет председателем колхоза, разорит всё хозяйство, и его выгонят. Он повесится, будет проклят и забыт всеми.

1930 ГОД

Урожай 1930 года не был отрадным. Лето сухое, ветреное, дождей мало. А главное: не управились вовремя с посевом. Однако ухоженные делянки кулаков и единоличников резко отличались от совсем плохих полей колхозников. Это поняли многие, и ещё большая ненависть появилась у активистов.

Налог Ивану Михайловичу принесли такой, что он только ахнул, и срок выплаты определили самый короткий.

— Ничего больше платить не буду, ни зёрнышка не получат! Продавать больше нечего. Двор пустой, осталась корова и лошадь.

Тятя метался по дому, кричал:

— Ни зернышка, ни копейки не получите от Ивана Михайловича.

Мама сидела в красном углу под иконами, плакала.

— Прекрати, Пелагея, мне душу рвать. Тудыть тебя в зелёный корень. Я скроюсь опять, а с тобой ничего не сделают.

Ну если уж в «зелёный корень», знала мама, это уже край, и далее Иван не сделает уступок ни на полшага.

— Ну и я так мыслю, Ваня, только бы тебя не тронули, а нас ещё раз из дому не выведут. Взять с нас нечего. Зерна в амбаре почти нет, а корова и лошадь — пусть берут, ахиды.

Мама говорила мягко, во всем соглашаясь с тятей. Но слёз не могла удержать: опять разлука.

Пришли в отсутствие Ивана Михайловича активисты, и на этот раз увезли всё, даже необмолоченные снопы с гумна. Увели и лошадь, и корову. И тарантас со двора уволокли — последнее, что напоминало о былой полноте хозяйства. Искали зерно, штыками прокалывали сено, солому. В нескольких местах взламывали полы в доме и в сенях, но ничего не находили. Ругались: не воздухом же кормила мать своих детей. Как всегда, особенно бесился Митрий Олегай:

— Укрываете от Советской власти зерно, Пелагея, за это не поздоровится. Все равно найдем.

— А всё ли ты, Митрий, отдаешь Советской власти? Не забыл ли отдать наши подушки и мои шали, и тулуп наш?

Вспыхнула Пелагея и Митрий озлился, готов был броситься на неё с кулаками, но не смог, обмяк, уж больно врасплох ему получилось.

— Воздухом, воздухом я кормлю своих детей, сеном и соломой, которые вы ещё не увезли.

— Поймаем Ивана, в тюрьме сгноим, да и тебе давно туда дорога.

— Вымётывайтесь из моего дома сейчас же, — закричала Пелагея, распахнув дверь.

Мама наша, наученная горьким опытом, все предугадала, предусмотрела, сумела кое-что припрятать. Каждый день был у нас хлеб, каша и даже сало. Всё это было не ворованное, не конфискованное, а наше это было, наш минимум, чтобы не умереть, только вот на стол собиралось украдкой и тут же съедалось.

Тятя однажды заметил: «Ты чего-то, мать, лучшие кусочки сала куда-то уносишь, прячешь, что ли? Ну да как знаешь. Может, и правильно делаешь. Только вот не пойму, чего это кирпичи-то из печи вытащила?» Понял тятя, в чём дело, смолк виновато.

Мама, как белка, всё, что могла, припрятывала на черный день . Мука, зерно, крупы лежали в надежном тайнике.

— Ищите, идолы, ищите, скорее сдохнете, чем найдете, — злорадствовала она.

Что с нашей мамой сделала жизнь! Она становилась решительной, злой волчицей, медведицей, готовой любого растерзать, кто покусится на жизнь её детей.

Тайник был в печи, глубоко под полом. Кто додумается залезать с головой в протопленную печь?

Почти каждый день следили за домом, ждали отца, устраивали тайные засады. Нас, детей, по одному подкарауливали и говорили:

— Скажешь, где твой тятька — пряник дадим.

Пряника очень хотелось, но где наш тятя, мы вправду не знали. Анюта, стоя перед активистами, долго им что-то говорила, но когда они поворачивали ее за плечи и прогоняли от себя, она кричала, требуя пряника.

— Зачем вы наманиваете детей, ироды, я вот ухватом вам покажу ваш пряник, — сердилась мама и на олегаев, и на нас.

Она тоже не знала, где Иван.

Иногда ночью слышались какие-то шорохи, она, вся дрожа и шепча молитвы, подбегала к окнам, вслушивалась, но отец не появлялся.

Однажды поздно ночью пришел какой-то человек. Мама заперла за ним дверь. Без света они вдвоём о чем-то говорили. Ночью же этот человек ушёл. Утром мы видели маму с опухшими от слёз глазами. Нам она ничего не говорила, а со старшей Любой что-то долго обсуждала.

Через какое-то время поздней ночью вернулся домой тайком Иван Михайлович. Он с Пелагеей вышел во двор, прошли они до гумна, шёпотом говорили, в чём-то убеждая друг друга. Пелагея плакала, Иван нервничал, срывал попадавшие на пути ветки деревьев. Отбрасывал их в сторону.

— Теперь уж не затащат меня на верёвке в этот колхоз, нагляделся я на их дела досыта. Душегубы проклятые, всю деревню разорили, настоящих хлеборобов разогнали. А земельку-матушку как запустили! Чего навоз-то на поля не возят, идолы! И что ещё будет! У нас все отобрали, чем сами-то скоро жить будут! Скотина у них подыхает. Башки за такое надо со всех сорвать. Иди домой, Поля, я здесь немного побуду, у родного дома.

Сокрушённый своими думами, Иван Михайлович дошёл до рощи, в которой уже обозначались ранние утренние тени. Ветерок слегка шевелил листву и вместе с просыпающимися поющими птицами ниспослал ему покой. Иван зашёл глубже в лес, трещали сладкозвучные кузнечики. Тихо струясь, родная реченька омывала плакучие ивы. Иван остановился, присел, прислонясь к одной из них, замер взглядом на оживающей утренними бликами воде:

— Боже, какая благодать! Подскажи, Отец Небесный, где найти утешение? Кто властен на этой земле грешной, кто остановит бурю? Что ж на душе так горько! Скорбь и утрата чего? Всей жизни утрата?

Иван Михайлович вернулся домой, поцеловал спящих детей и ушёл.

Днем опять прибежали активисты, надоевшие до тошноты:

— Знаем, что Иван бывает дома. Ты нам, Пелагея, головы не крути, мы не олухи. Запомни, поймаем — сразу расстреляем. А если ты до нового года не выплатишь налог, тебя посадим в тюрьму.

— Воля ваша, — покорно, отчужденно от всего сказала мама.

1931 ГОД

Прошёл Новый год. Наступил 1931-й. Тревожно на душе у Пелагеи. Каждый день ждала Ивана. Хоть и в страхе за него, а ждала. Где он, что с ним? Снились страшные сны. Среди ночи стала вскакивать, бежать на двор, громко кричать Ивана. Люба и Лиза выбегали за ней, уводили в дом.

Терялась в догадках:

— Не просто и активисты не приходят и налог не требуют. Господи, да неужто что случилось, неужто поймали?

Поехала Пелагея в Яранск к Наталье, тоже раскулаченной, давно живущей в городе. Мужа и сына Натальи выслали, и вот уже второй год — никаких вестей.

— Может, уж отвязались от нас, — размышляла Пелагея, — пора бы уже насытиться.

— Да нет, Поля, не похоже, — сказала Наталья, в городе-то она больше чего слышала о положении дел. — Сейчас им, наверное, просто не до нас. На днях все наши активисты выезжали в Чернушку. Говорят, там бунт был и кого-то убили. Оттуда много мужиков навезли в город, порассовали по тюрьмам.

— Там, видно, меньше активистов было, а у нас — как собак, — сказала Пелагея.

Извещение о бунте и арестах совсем было не ко времени: значит, и с её Иваном, может, беда стряслась.

ДМИТРИЙ ОЛЕГАЕВ

Утром, в воскресенье, пошла Пелагея в Высоково, в собор. Молилась горячо, слёзно. Вдруг увидела краем взгляда знакомую высокую скрюченную фигуру.

Митрий Олегай! Возможно ли? Он разговаривал с батюшкой. Низко поклонился ему, быстро отошёл вправо, встал за большой иконой. Олегай молился, губы его что-то шептали.

Пелагея тоже отодвинулась к стенке, чтоб он вдруг её не заметил, сосредоточиться на молитве уже не могла.

Отец Серафим закончил службу проповедью:

— Когда человек сидит в яме, заполненной грязью, он и сам с головы до ног покрывается грязью. Вот так грязен непокаявшийся грешник, и душой грязен, и телом. В нем нет чистого места. Все мысли, желания, все движения души его порочны. Через глаза, уши, через язык впускает он в себя духовную скверну и весь покрывается язвами. Покайтесь пред Господом, просите прощения, плачьте о себе.

«Помилуй мя, Господи, помилуй мя» — эти слова дышат надеждой, что Господь не отринет кающегося грешника от Своего Отеческого сердца и покаяние дойдет до Него, если оно будет слезным, жгучим, идущим от сердца. Господь щадит грешников. Он Один знает, кто из них покается перед лицом Божиим. Может быть, в последние минуты из сердца грешника исторгнется такой стон раскаяния, который прорежет небеса и низведет милосердие Божие и прощение за все его грехи. Наше покаяние и слезы раскаяния должны изливаться в молитве ко Господу: «Господи, отними от нас тяжёлое бремя греховное, пробуди совесть нашу, огради нас страхом Божиим от греховных искушений».

После проповеди отца Серафима прихожане подходили к батюшке и шептали ему своё, тайное.

Подошёл и Митрий Олегай. Пелагея пробралась ближе, прислушалась.

— Я, батюшка, — шептал Олегай, — не всегда воздерживаюсь от мяса, так смею ли я принимать причастие?

— В Евангелии сказано: какая польза воздерживаться от мяса бессловесных, а есть человеческие тела.

Митрий вздрогнул, как громом, поразили его эти слова. Он наклонился над батюшкой и стал совсем тихо что-то шептать.

Выслушав, отец Серафим произнес:

— О небо! Ведаешь ли ты наше падение! Нет ничего, кроме мрака. Вразуми нас, дай нам силы.

Повернувшись к Митрию, продолжал:

— Осени раба Божьего Димитрия, прости ему прегрешения его, Многотерпелив и Многомилостив, Господи!

Может быть, Митрий осознал свои грехи? Может быть, подумал, что, выполняя ту же работу, он мог бы быть пожалостливее, особенно к бабам и детям? Может быть, он мысленно сравнил себя с другими активистами и в сердцах воскликнул: «Ну, сволочи, все жалостливые, а Митрием прикрываются. Им жаль, а я изверг, да?» Или он всех обматерил, и его раскаяние на этом закончилось?

Глубока и часто темна душа человеческая. Как понять её?

БЕДА

— Всё, мать, собирайтесь...

Пелагея сидела как завороженная, будто ничего не слыша, не видя, не понимая.

— Надо уезжать, Поля. Договорился я с одним человеком из другой деревни. Он живет далеко отсюда, в городе Павлодаре. Приехал в деревню тоже скрытно, чтобы забрать свою семью. В прошлом году они с сыном бежали с высылки и живут сейчас там... Да не крутись ты без пользы, мать. Погоди, не реви. Сначала выслушай меня. Сегодня ночью приедут Миша с Марией, помогут собраться, проводят. На девчонок одень новые ботинки. Они в мешке. И тебе купил, не знаю вот только, ладны ли будут.

Пелагея поднялась, вдруг обмякла и стала падать. Иван подхватил её, положил на лавку.

Подбежали мы. Бедный наш тятя, он сильно испугался, лоб взмок крупным потом, лицо побледнело. Он стал пред лавкой на колени, дал маме воды и стал гладить своей большой дрожащей ладонью её руки, плечи.

Мама долго лежала без движения, но поднялась, села.

— Так вот, — продолжил отец, — этот самый Семен Разумов живёт сейчас в Казахстане. Он рассказал, какая там хорошая жизнь. Туда и поедем.

— Как это ты, отец, решил всё один, без меня, без девочек? Так сразу?

— Да не сразу. Я и у Миши был не раз, и в Высоково ездил. Помнишь старенького учителя? Все говорят: надо уезжать.

— И Манюшка, дочь моя, согласилась, чтобы мы ехали? — возмущенно вскрикнула Пелагея.

— Там только белый хлеб едят, мяса до отвала, — продолжал Иван. — Там никого не раскулачивают.

Пелагея притихла. Где-то этот Казахстан? А главное — как оставить дом? Они его с кирпичика, с конька строили. А двор? И птичка не залетит, всё закрыто, всё чистенько. А баня, а гумно, а огород, а погреб? Как без всего этого жить?

— Боже, спаси и сохрани! Чем же мы так прогневали тебя, Человеколюбче? — Пелагея упала на колени перед иконами, долго исступленно молилась. Успокоилась, подошла к Ивану.

— Пусть будет по-твоему, отец. Но не сейчас же, не вдруг? Ещё сходим в церковь, исповедуемся. В своем доме встретим Воскресение Христово.

Отец зло тихо крикнул:

— Собирайся.

И Пелагея увидела в его глазах всё: и затравленность человека, доведенного до последней черты, и страх мужа и отца, и крайнее нетерпение, и слёзы, и ненависть.

Поздно ночью приехали Миша с Марией на своей лошади. Началось беспокойное, но очень тихо движение. Пелагея и Мария притащили из чулана большой сундук, поставили посреди избы. Пелагея складывала в него скатерти, полотенца, подушки, свои сарафаны, наши платья.

Подошёл отец и всё выбросил на пол:

— Ты что, Пелагея, неужто совсем не понимаешь? Будем же ехать поездом. Как ты затащишь этот сундук? Там двери узкие.

Что такое поезд, мать и мы не знали. Сундук вынесли в сени, вместо него принесли мешки.

Пелагея делала все механически, плача, жалуясь Марии:

— Ведь я только говорю отцу подождать до Воскресения Христова.

Не мог сдержаться и отец.

— Миша, — шептал он зятю, — ты хоть вразуми свою бестолковую тёщу, что нельзя ждать ни дня, ни часа. Кто-то догадается о нашем сборе. Донесут. Схватят меня. Не дадут уехать! Посадят ведь меня! Как ещё втолковать это бабе. Пропадешь ведь ты с девчонками, все сгинете!

Иван подавил в себе обиду на жену и тут же ещё раз приказал:

— Поняла, нет? Ни дня, ни часа...

В доме был полумрак, лампу не зажигали, только в сенях тускло горела свеча. Тятя с мамой и все мы встали на колени перед иконами, помолились, потом поклонились на все четыре стороны, вышли в сени, тоже кланялись — всей нашей деревенской жизни, каждой части нашего некогда счастливого деревенского житья — и вышли во двор.

Разговаривали шёпотом. От этой тягостной тишины, не понятной нам, маленьким, от этой спешки и приглушенных всхлипываний мамы, Марии и Любы мы с Лизой тоже заплакали.

Кони стояли запряжёнными. Меня и маму с Анютой посадили на одну лошадь, а на другую — Любу и Лизу. Кони тронулись. Выехали задними воротами и поехали по задворкам, чтобы проехать деревню никем не замеченными.

Мария подбегала к нам, на ходу ещё и ещё раз целовала всех нас, а от мамы её с трудом оттаскивали. Миша удерживал её, уговаривал. Сам он по-мужски крепился, а слёз в темноте ни у кого не было видно.

Отец повторял одно:

— Тише, ради всех святых, тише. Опомнитесь, родные вы мои, ведь это ещё не смерть. Бог даст — и свидимся.

Доехали до первого проулка. Мария вернулась обратно. В нашем пустом доме ей надо было переночевать, а утром чуть свет уйти в свою деревню.

Где она найдет силы, милая, пережить эту страшную ночь! Высохнут ли до утра её слёзы!

Миновали деревню. Никаких звуков не было слышно, кроме лая собак и то издали. Кажется, даже лошади поняли эту нашу осторожность: не ржали, не заставляли себя понукать, шло ровно, быстро.

И вот деревня совсем позади, кругом темно, только звёзды далеко-далеко вверху да прикрываемая отцом спичка, когда он закуривал, чуть поблёскивали.

Проехали село Высоково, ни конных, ни пеших — никого не встретили.

— Слава Богу, пока все хорошо, — вздохнул отец, остановил лошадь.

Подошёл Миша:

— Папаша, что-то случилось?

— Случилось, — сказал наш тятя.

Он обнял Мишу, сел на край телеги, положил голову маме на плечо.

— Случилось, дорогие вы мои. Кажется, убежали.

Под утро мы, дети, заснули, а когда проснулись, увидели, что тятя с Мишей спали, а вожжи держала мама, на другой лошади — Люба.

Город Йошкар-Ола нам показался страшным, неуютным, грязным. Мама испуганно озиралась кругом и порой восклицала:

— Господи, неужели в аду ещё страшнее!

Всюду шум, гудки, машины какие-то. Вначале мы и лошади испугались машин, но быстро присмотрелись, успокоились. Людей везде мно-

го, все куда-то спешат. Многие разговаривают на не понятном для нас языке (марийском).

Тятя с Мишей распрягли Сивку, и на этот раз мы простились с ним навсегда. Его продали.

Под вечер мы были на вокзале. Здание деревянное, внутри сплошной дым от курева, по бокам длинные скамейки, но на них никто не сидел, все спешили на перрон к поезду. В темном углу на большой табуретке стоял бак с водой. К ручке бака прикреплена кружка на цепи.

Около окошка кассы толпа людей. Очереди никакой, просто кто сильней, тот и впереди. Тятя с каким-то мужчиной тоже толкались тут же. Обстановка неприглядная, много грубости, сквернословия. Мы этого никогда не слышали и поняли по-своему. Значит, в городе нельзя иначе.

Мама поспешила увести нас на перрон. Здесь сесть было негде. Скамейки заняты, а на земле окурки, плевки, около урн рои мух.

Тятя пришёл с билетами до города Омска, а там мы должны были брать билеты до Павлодара.

Вскоре подали поезд. Вместо нашего нежного красавца — живого тонконого Сивки — перед нами стоял поезд. Он нам не понравился. Железо, громадные колёса, душераздирающие гудки.

Люди с котомками, с мешками, со связками лаптей, бураков (плетёных коробов) спешили на этот поезд, перегоняя друг друга.

Как всё нам непривычно, дико, какой резкий контраст с нашей родной деревней.

Миша помог нам погрузиться в вагон, а когда поезд тронулся, он закрыл руками лицо и так стоял, пока не скрылся из виду.

Миша, Мишенька, дорогой ты наш зятёк, как тебе было тяжело! Не хватало сил и рукой помахать нам. Всю жизнь мы вспоминаем тебя. Скоро ещё раз поможешь ты нам, спасёшь от верной смерти. А сам, бедный, погибнешь в первые же дни войны с фашистами. Так и молимся мы за тебя всю жизнь. Да будет земля тебе пухом!

— Ох, отец, — стонала Пелагея, — тяжело на сердце: не за новой ли бедой мы поехали? Помоги, Боже, пережить эту разлуку.

Иван обнял Пелагею за плечи, как младенец, прижался к ней и зарыдал:

— Мать, пожалей ты меня, успокой...

Что творилось в эти минуты с нашим папой?.. Как вошли в вагон, разместились, так он словно ожил, заулыбался, как-то даже с гордостью

взглянул на уплывающий в сторону вокзал, дескать, вот вам, удрал я от вас, свободный я человек. Если не смерть, то уж наверняка тюрьма там ждала его — за выдуманные недоимки, за непосильные налоги. Вероятно, и тут же страх охладил душу: куда же он вёз жену и дочерей?

Он выплакивал то напряжение, в котором находился последние месяцы, душу свою выплакивал, оскверненную и униженную.

С этими слезами утечёт все, что жило в нем глубоко внутри его, чем он жил и дышал, что любил всем существом своим.

Тятя ты мой родной, Иван Михайлович, может быть, тогда чувствовало твое сердце, что навсегда прощался ты с крестьянской своей жизнью, с землёй.

Мама обняла его, стала ласкать, миловать:

— Ванюшка ты мой, успокойся, милый, дал Бог, избавил от беды.

Мы никогда не видели, чтобы тятя плакал, и нам стало жаль его. Мы тоже все заплакали. Никто не мешал нам, все вокруг были заняты своим.

Прошло время, тятя, как бы опомнившись, заговорил первым:

— Все, мать. Ну-ка хватит, девчонки. Поглядите-ка в окошко, какой там лес, какая красота. Ведь так, Любашка?

— И нисколько не нравится, — сказала Люба, — у нас в деревне всё равно лучше.

И обиженно, со слезами, отвернулась к стене. Семнадцать её лет прошли в милой сердцу деревне, а теперь и для неё начиналась новая жизнь.

Тятя ещё раз обнял маму, вытер её лицо своими ладонями и улыбнулся. Мама, глотая слёзы, на руках качала Анютку. Постепенно все успокоились. Мы поняли, что случившегося не исправить.

Окончание следует.

ЕКАТЕРИНА УЛАНОВА

ГАРМОНИИ В ЛЮБВИ – СВЕТЛЕЕ НЕТ

***

Мир угасает по краям,
Но – в центре – огненно слоится,
Свой жар передавая нам;
Сердца, не прекращая биться,
Стремятся слиться в унисон;
Крылатость мыслей – птичьи стаи –
Сместила явь, сместила сон:
Мы стали закаленней стали.
Нам проходимы все пути
И все просторы нам подвластны...
Но – тех, кто к свету смог пройти,
Их голоса – уже – безгласны.

***

Тиха, нежна и горяча,
Качая небо звездно,
Приходит ночь. Горит свеча.
Пора ложиться. Поздно.

Но сна как не было – так нет,
Уснуть ли в ночь такую,
Когда прозрачный лунный свет
Включают, я – ликую!

И то, что вечность – у дверей –
Сама пугливей мыши:
Молчит и дышит – то скорей,
То ощутимо тише.

И волен дух, душа вольна
Привычно подчиниться
Тебе, небесная страна,
Святая заграница.

Уланова Екатерина Валентиновна родилась в 1969 году в Йошкар-Оле. Автор 4 поэтических сборников и 2 книг для детей. Член Союза писателей России. Живёт в Йошкар-Оле.

Доченька

Так чиста моя голубка,
Так светла.
Только счастье наше хрупко,
Нам тепла

Не хватает в жизни нашей,
Доброты.
Как же стать скорей постарше
Хочешь ты!

Не спеши, дружок, на свете
Много дел.
Взрослый бы – не то что дети –
Не сумел

Все расставить – поэтажно –
По местам.
Свет сберечь твой очень важно,
Важно нам.

В мире целом нет дороже
Огонька:
На тебя гляжу и – тоже –
Вся – легка!

***

Ребенок улыбался свету,
Сиянью солнечных лучей,
Как будто смаковал конфету,
И заливался – как ручей.

Весь мир ему казался сказкой,
Что так чудесна в этот раз!
И на него глядел с опаской
Старик и щурил хмурый глаз.

А солнце огненной каретой
По небу свой тянуло след...
...Ребенок улыбался свету,
Весь мир преображая – в свет.

Геленджик

***

Качнулся маятник ночной.
И звезды сразу поредели.
И пролетели предо мной –
Как миг единый – две недели.

Плодами налиты сады,
Душистый груз на ветке каждой.
Торговые бурлят ряды
И приключеньями, и жаждой.

Проходишь мимо, но порой
Твое вниманье привлекает
Предмет – на вид совсем простой,
Но от себя не отпускает.

И покупаешь, веселясь,
Плывя в одном людском потоке,
Несущем чистоту и грязь...
... Вино, мороженое, соки;

И павильоны, и лотки –
В калейдоскопе вакханалий...
Здесь редко встретишь каблуки –
В разнообразии сандалий.

Как вольно югом дышит грудь!
И солнце обжигает кожу.
Но нет усталости – ничуть,
И чувствуешь себя – моложе.

И – отовсюду – говорки,
Акценты: будто и не в ссоре –
Со всей России – ручейки
Стекли сюда, на это море.

Анапа

***

Ты ищешь справедливости? Ищи! –
Конец у круга, след полета птицы...
Быть может, есть она? Зажатая в клещи –
В два Вышних ока – сжатые ресницы.

***

Хмелела рожь от солнечных забав,
И колосилось поле золотое.
Но, в нужный срок весь урожай собрав,
Его привычной сделали едою.

Тот самый хлеб – сегодня на столе,
Где в каждой крошке – солнечная нива.
Вот так и мы – резвимся на земле.
И пахарь наш глядит нам вслед ревниво.

Геленджик

***

Отобрали меня у меня.
Не осталось в лампадке огня.
Зачадил керосиновый всхлип.
Обратилось дыхание в хрип.

Отобрали меня у меня
Посреди лучезарного дня,
Раскололи: осколочный смех –
Свистопляска бродяжьих прорех.

Отобрали меня у меня.
Вместо чувств – полынья! Полынья...
Не осталось ни грез, ни стыда:
Только стылая эта вода.

Обобрали и – бросили прочь,
В пустоту – безнадежную ночь.
... Облетает дозором кресты
Черный ворон – моей – пустоты.

***

Наш новый день – как утро во Вселенной,
Как детских лет чистейшие черты,
Нам открывает необыкновенный
Мир звуков, красок, хрупкой красоты.

И выше нет – гармонии в природе,
Гармонии в любви – светлее нет.
И с музой Сфер, сливаясь в небосводе,
Поет Земля и – умножает Свет.

Памяти бабушки Веры

***

Стоит родная у окна
И плачет, провожая взглядом,
И машет нам, совсем одна,
Одна... Да только кошка рядом.

Тебя запомнила такой.
Но как же памяти мне мало! –
Прижаться бы к тебе щекой,
Обнять, как в детстве, как бывало.

Не помню, был ли кто добрей
Тебя, а жизнь я повидала.
К тебе стремилась я скорей,
Да только лета было мало.

Так и росла – на полпути:
Деревня – город – и обратно...
И нравилось мне так – расти,
И помнить то, что невозвратно.

Нет, годы не замедлят бег.
И – я – бегу – по белу свету.
А ты, родной мой человек,
Мне подала – во сне – конфету.

И я, как в детство, как – в тогда,
С тобой вернулась на немножко.
Чтоб помахать – через года –
Тебе, стоящей у окошка.

***

Там счастье пело и лилось
Лучами солнечного света.
Там так пронзительно жилось –
В слиянье привкуса и цвета.

Мы не страшились высоты
И брали с легкостью высоты.
И новый день – дарил цветы
И вдохновенья, и полеты.

Мы так страдали от разлук!
Нам было нечего стыдиться.
Мы верили в сплетенья рук
И в сны, что приходили сниться.

Там все, что было кувырком,
Естественным и ясным было.
Там знак любви нам был знаком.
Но время – наше – уходило.

Отяжелело бытие.
И все, что раньше так сверкало, –
Лишь отражение мое
На гранях вещего кристалла.

Действительность – давно – не та;
Мотивы, ритмы – все иное...
Но как же манит высота!
Без веры в крылья за спиною.

ЛЕВ ЯТМАНОВ

МОКРЫЙ СНЕГ

Рассказ

Странный был декабрь, не зимний какой-то, с влажным ветром и частыми ростепелями, и хотя близился Новый год, мороз по-настоящему ещё не тронул землю.

И этот день выдался на редкость туманный, пасмурный и сырой.

С утра пошёл тяжёлый снег, а к полудню ещё больше потеплело, появились лужи, и уже не понять было: снег ли, дождь ли падает с неба на асфальт, людей, крыши домов...

Прохожие, подняв воротники пальто, молча шли по улицам, и каждый спешил поскорее добраться до сухого тепла квартир, снять мокрую одежду, обогреться горячим чаем...

Было пятнадцать минут четвёртого, а она не появлялась. Он привык к частым её опозданиям, но всё же напряжённо следил за прохожими, стремясь поскорее увидеть в толпе её светлую шубку.

Так было всегда: всегда к волнующей радости встречи с нею примешивалось чувство острой тревоги— а вдруг что-нибудь снова задержит её и она не сможет прийти?

Это бывало часто, и тогда ему приходилось подолгу ходить возле её дома в надежде на случайную встречу или допоздна засиживаться в редакции, дожидаясь её звонка.

Друг друга они знали с полгода, но встречались тайно, потому что она была замужем и в нерешительности своей боялась сказать правду мужу— нелюбимому и чужому человеку. Всякий раз она старалась уйти от неприятного разговора о разводе, медлила, говорила, что, совсем не любя мужа, всё же уважает его и не хочет причинить ему горе.

А тот, кто сейчас нетерпеливо ждал её на автобусной остановке, знал, как легко делает она дорогие покупки, как небрежно относится к деньгам, и начинал сомневаться: одно ли чувство уважения к мужу удерживает её от последнего шага?..

Он, начинающий журналист, не мог дать ей столько, сколько, не работая, имеет она от мужа, пожилого, умного и талантливого хирурга, известного всему городу.

Ятманов Лев Иванович родился в 1936 году во Владивостоке. Автор 3 сборников рассказов и романа. Член Международной ассоциации писателей и публицистов. Живёт в Йошкар-Оле.

И эта мысль с каждой их встречей всё сильнее укреплялась в нём, заставляя мучительно страдать...

Прошло минут десять, и тогда появилась она. Он даже вздрогнул от неожиданности, сжался весь: такой яркой и ошеломляюще красивой показалась она ему в этот бледный, быстро меркнущий день среди хмурой толпы прохожих.

Да, она и вправду была хороша в своей дорогой лёгкой шубке и высоких сапожках. Лицо её мраморно светилось, лоб прикрывала чёлка иссиня-чёрных волос, а рот был нежно ал.

Оба, как условились, лишь взглянули друг на друга, но он успел увидеть, как в чуть заметной радостной улыбке дрогнули её губы, как расширились и повлажнели светлые длинные глаза. Тогда он сделал равнодушное лицо, повернулся и, с трудом сдерживаясь, чтобы не броситься к ней, зашагал прочь. Он слышал сзади стук её сапожек, спиной чувствовал, что она идёт шагах в десяти и смотрит на него, и было очень трудно идти так и чувствовать её взгляд.

Сегодня он, как обычно, вёл её к своему приятелю, у которого была отдельная квартира.

Приятель часто ездил по командировкам, отдавал ему второй ключ, и только там, в этой маленькой квартире, они могли чувствовать себя спокойно и не бояться, что кто-то увидит их.

Они поднялись на третий этаж, вошли в прихожую, и, как только захлопнулась дверь, он обнял её и стал целовать мокрые холодные щёки, губы, лоб, шею...

— Подожди, подожди, глупый... Ты же помнёшь меня всю, — твердила она, слабо отталкивая и целуя его. — Ну подожди минутку...Он выпустил её, помог раздеться, разделся сам, и они прошли в комнату. Пусто здесь было, голо и неуютно. Диван, стол, стулья, а в кухне под умывальником гора немытых тарелок, стаканов, вилок, ножей: приятель был холост и дома появлялся редко. Но они обычно не замечали ни грязной посуды, ни окурков на полу, не замечали ничего в эти редкие и дорогие часы встреч.

И в этот раз он не видел пустоты, запущенности и неуюта, он знал, что она здесь, нежная, красивая, посвежевшая, и большего ему не надо.

Она привычно огляделась, подошла к зеркалу и, поправляя волосы, протянула неопределённо: «А здесь всё так же...»

Он не услышал странной и новой нотки в её голосе, обнял её и, целуя в шею, торопливо бормотал: «Ты опять, опять опоздала. На целых полчаса. Я думал, всё кончено — не придёшь».

— Прости, милый. У мужа в институте изменилось расписание, сняли лекции, а я не знала. Он целый день дома сегодня, никуда не хотел отпускать меня, предлагал пойти в кино. Еле отпросилась, сказала, что подруга школьная больна.

— А у тебя есть она, подруга-то?

— Откуда? За шесть лет всех порастеряла! Кто в другой город уехал, кто замуж повыходил.

— Как ты...

— Да.

— И почему ты, действительно, замужем? Ведь он на целых семнадцать лет старше тебя!

— Так получилось... Да мало ли что бывает. Не будем об этом! У меня чудесное настроение, а в сумке отличное крымское вино. Пойди, достань. Выпьем.

Он послушно пошёл в кухню и пока открывал там вино, украдкой косился, посматривая на неё. Он видел, как она достала сигарету, слегка помяла её, чиркнула спичкой, торопливо сделала первую затяжку, небрежно откинулась на спинку дивана и прикрыла ресницы. И он вновь залюбовался ею, всей её фигурой, небрежной позой и стройными ногами, и даже испачканной помадой сигаретой, чуть дрожавшей в её длинных тонких пальцах, и дымком, который зыбкой голубоватой струйкой тянулся к её лицу. Он чувствовал, что она знает, как идёт ей всё это, и делает так нарочно, чтобы сильнее понравиться ему.

Он открыл бутылку, поставил на стол две рюмки, снова ушёл на кухню, отыскал в шкафу в вазочке несколько шоколадных конфет и принёс их в комнату.

— Как ты долго, — медленно сказала она, поднимая ресницы. — Ну садись же... Она налила ему и себе, потом взяла рюмку, поднесла к губам, чуть смочила их и, закрыв глаза, блаженно прошептала:

— Боже мой, как пахнет! Ведь югом, Крымом пахнет!

Вино янтарно желтело и источало тонкий прелестный аромат, и действительно, пахло солнцем, виноградом, сосновой хвоей и будто даже солоноватым морским воздухом.

Она отпила немного и, улыбаясь ему одними глазами, спросила:

— Ты был в Крыму?

Нет, он никогда не был там, и они принялись мечтать о том времени, когда она наконец станет свободной, и они, не боясь никого и не прячась, поедут летом к морю, снимут на самом берегу комнату, как будут целые дни лениво валяться на пляже, загорать, пить сухое вино, а ночами сквозь дремоту слушать неясный шум волн и утробный рокот камней в прибое, и что это вообще будут за ночи — дивные, полные любви и счастья! — и как славно пройдёт их первый месяц, когда не надо будет расставаться ни на час...

Они говорили ещё долго, перебивая друг друга и стараясь находить новые заманчивые и волнующие чёрточки их будущей жизни, и она казалась обоим такой близкой и доступной.

А на улице уже наступил длинный зимний вечер, сырой и мглистый, и один за другим стали зажигаться взбухшие от тумана огни фонарей.

Он подошёл к окну и долго смотрел, как в жёлтый конус света из глухой черноты беззвучно влетали хлопья снега, как они касались асфальта и мгновенно таяли в уличной зеленоватой слякости.

— Долго ещё до лета, — сказал он, — как-то даже не верится, что придёт оно. Ещё ударят морозы, задуют февральские метели, потом медленное таяние снега, май и только потом лето... Как долго ждать!

— А ты помнишь нашу первую встречу, — вдруг спросила она и, тут же смутившись, поспешно добавила: — Не здесь, не в этой комнате, а в автобусе, летом?..

— Конечно.

— Ты тогда первый заговорил со мной, и я сама удивляюсь, почему я не нагрубила тебе. Я всегда быстро отшиваю нахалов.

— Так я показался тебе нахалом?

— Нет же, глупый. Просто у тебя был ужасно смешной и растерянный вид, когда ты взглянул на меня.

— Ты мне очень понравилась, и я думал, что ты какая-нибудь проезжая знаменитость, ну, артистка, например, и очень боялся, что ты побудешь в городе несколько дней, а потом исчезнешь навсегда. Только поэтому и заговорил...

— И очень жалел, узнав, что я замужем...

— Я и сейчас жалею и не знаю, когда и как всё кончится.

Она слабо улыбнулась:

— Не надо, милый. Я же с тобой...

— На один-то день? Да что день! Несколько часов и то украдкой!..

— Что же я могу сделать?

— Но ты же обещала поговорить с мужем!

— Я не знала, что у него предстояли две сложные операции. Не могла же я так сразу... Ты сам прекрасно понимаешь.

— Но ты поговоришь с ним до Нового года? Впереди больше недели.

— Не знаю... вероятно...

— Так да или нет?

— О господи! — взорвалась она. — Перестань меня мучить своими вопросами или я сейчас же уйду! Сию минуту!

И он замолчал сразу же, потому что хорошо знал эти неожиданные переходы от глубокой нежности и любви к яростным вспышкам злобы, знал этот особый, ледяной какой-то блеск её глаз и понимал, что со всем этим надо мириться, потому что оба они истомлены, измучены боязнью, неуверенностью и постоянными оглядками, но знал он также, что теперь только от неё зависит возможность скорее кончать эту тягостную двойную их жизнь, обман и неопределённость, а она медлит и боится чего-то...

Ах, если бы всё мог решать только он один!

— Дай сигареты, — сухо, но уже примирительно, мягче сказала она.

— Мне не нравится, что ты столько куришь, — ворчливо отозвался он, хотя бы этим желая отомстить ей за своё недавнее отступление.

— Оставь, я знаю сама.

— Прошу тебя...

— Тебе трудно подать?

И он вновь послушно умолк и протянул ей сигареты, а она нервно вытащила одну и закурила, кроваво пачкая конец сигареты помадой...

Они помолчали немного, потом он поднялся, походил по комнате и глухо, но твёрдо произнёс:

— Я поговорю с ним сам. Если ты не хочешь. Завтра же.

Она вздрогнула, вскинула голову, быстро и испуганно взглянула на него и торопливо ответила:

— Делай, как знаешь...

А потом внезапно уронила голову и громко, судорожно, по-детски зарыдала, всхлипывая и давясь слезами.

И он понял, как ей тяжело и больно, и острая тоска и жалость к ней, ко всей её дрожащей и жалкой теперь фигуре мгновенно сжала его сердце.

Он встал на колени, обнял её вздрагивающие плечи и торопливо принялся целовать спутанные прекрасные волосы:

— Ну, хорошо, хорошо, родная... Ну, успокойся, прости меня... И решай, решай сама. Моя бедная, моя славная...

Под его ласками рыдания её стали глуше, тише, потом совсем прекратились, и только плечи изредка вздрагивали, а губы жалко кривились.

— Дай платок, пожалуйста. Там, в сумке, — попросила она.

Он подал платок и долго, как ребёнку, вытирал ей мокрое лицо, а она порывисто и глубоко вздыхала, успокаиваясь...

Они потом долго ещё сидели в темноте, тесно прижавшись друг к другу, он тихо гладил тонкую её руку и с грустью думал, что и сегодня так ничего и не решилось, а он надеялся на эту встречу! Снова тоска, снова неопределённость, снова встречи украдкой. И когда всё это кончится — кто знает...

Через час они стали собираться.

Она совсем успокоилась, надевая шапку, привычно посматривала на себя в зеркало, пудрилась, подкрашивала губы, была, как обычно, красива, весела и улыбчива, словно и не было недавно горьких слёз, вздрагивающих плеч, жалко искривлённого лица.

Он, подавая ей шубку, с нежностью смотрел на её шею, на тёмный завиток волос и с печальной ясностью понимал, что она и после Нового года будет колебаться, и неизвестно ещё, решится ли вообще на последний шаг.

— Ну, милый, прощай. До свиданья, конечно. Увидимся через год. Ну да, в Новом году. Ты вспомнишь обо мне? Ровно в двенадцать, да?— торопливо говорила она, подставляя для поцелуя лицо.

— Обязательно вспомню. И ты тоже, — ответил он, влюблено и грустно глядя на неё.— Поцелуй меня в последний раз в этом году, ведь на улице нельзя будет.

Она поцеловала его долгим поцелуем, и они вышли за дверь. Быстро спустились по лестнице, и теперь впереди пошла она, а он шёл сзади, глядя на её высокую стройную фигурку. На улице она как-то сразу стала холодна, деловита, сдержанно-озабоченна, шла быстрым ровным шагом и совсем не замечала, как прохожие мужчины оборачивались ей вслед и провожали долгими внимательными взглядами: так она была хороша. А у него от этих взглядов начинало глухо колотиться сердце, сжимались кулаки, но он должен был идти сзади и мучительно ревновать её ко всем.

На остановке они сошлись, но стояли рядом, не говоря друг другу ни слова, и только когда подкатил автобус и с шипением распахнулись дверцы, она быстро оглянулась и прошептала:

— Я позвоню тебе сразу после Нового года... Во вторник или в среду... До свиданья!

В автобусе она нашла свободное место, села у окна и посмотрела на улицу. Он стоял на площадке и, когда автобус тронулся, слабо махнул рукой.

В знак прощания она чуть наклонила голову, а подняв её, увидела, что он уже стал пропадать за густой пеленой тяжёлого снега.

Было тепло, воздух из обогревателя приятно гладил ноги, и она, уже возвращаясь в мыслях к дому, к мужу, думала, как тяжело притворяться, выдумывать несуществующую подругу, отвечать на внимательно-вопрошающий взгляд мужа какой-нибудь нелепой шуткой, постоянно скрывать свои чувства и лгать, лгать. Как всё это тяжело, противно, гадко и унизительно! Да так ли уж ей плохо с мужем, чтобы начинать другую жизнь? Надо ещё подумать, надо всё взвесить...

А он в это время шёл к себе домой и с тоской вспоминал всю сегодняшнюю встречу, и ему становилось горько за тот радостный трепет, с которым он несколько часов назад ждал её на остановке, за все его старания найти эту жалкую, неопрятную квартиру, за тот стыд, с которым он будет возвращать приятелю ключ, отвечая шуткой на его двусмысленные, унизительные намёки — а до шуток ли ему! Ещё он думал о том, что дома на столе давно лежит недописанный очерк, что завтра снова придётся искать отговорку для завотделом и что вообще работа в последнее время у него идёт из рук вон плохо и нечего надеяться на вступление в Союз журналистов, а в университете его хвалили когда-то и, кажется, не зря...

Скоро Новый год, и снова надо встречать праздник без неё, а до этого он будет ходить от одного приятеля к другому, пить с ними и всё для того, чтобы как-то отогнать тоску по ней, а дома недописанный очерк, одиночество и укоризненные взгляды матери.

Как это тяжело и когда всё кончится!.. Он шёл, подняв воротник, и мокрые хлопья снега тяжело валились на его опущенную голову и плечи, тускло поблескивая в свете редких фонарей.

Январь, 1965 год

ВЯЧЕСЛАВ ПОПОВ

ПРО УМНОГО

Рассказ

Анимационный предвыборный ролик явно приглашает телезрителя посмеяться: в лодке — небритый мужчина, усердно работающий веслом, и собака с большим камнем на шее. Оба, глядя друг на друга, плачут. Крупные капли слез хорошо видны, несмотря на то, что идет дождь.

Михаил гасит экран и с раздражением бросает на диван плашку дистанционного управления, долго молчит, потом зло произносит: «Противно!» — и снова умолкает. Наконец оживляется: «А ведь я могу рассказать историю, словно списанную с тургеневской «Муму». Мишу всегда интересно послушать. Он моряк в третьем поколении, участник Великой Отечественной войны, много повидал на белом свете. Еще немало узнал от своего отца, ветерана Русско-японской, который, помимо историй из своей жизни, любил пересказывать приключения Мишиного деда, моряка фрегата «Паллада», известного своим кругосветным плаванием. Я приготовился услышать что-нибудь из «преданий старины глубокой».

— До недавнего времени я подрабатывал к пенсии охранником в обкомовском гараже, — начал повествование Михаил. — Работа не денежная, но и, как говорится, не пыльная, хотя объект, сам понимаешь, не рядовой. Его работники соответствующим образом подбирались, проверялись и дружбы со «злодейкой с наклейкой» не заводили. Ведь у шоферской братии как ведется: нельзя пить за рулем, пьяный за рулем — преступник. А поставил машину в гараж — ты уже и не за рулем, и расслабиться можно, а гараж как бы и не рабочее место. У нас же любой работник и помыслить о спиртном не мог: один раз попадешься «под мухой» на глаза начальству, и прощай, теплое местечко. Очень строго было с этим делом. И вот однажды, заступив на очередное дежурство, я увидел кутенка, спящего около миски с молоком:

— А это что за зверь?

Попов Вячеслав Григорьевич родился в 1936 году в Ронгинском районе Марийской АССР. Автор 5 поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в Йошкар-Оле.

— Подобрал недалеко от проходной. Похоже, подкидыш. Подрастет — помощником будет. По всему видно, умная псина, сообразительная. Много не церемонился — сразу за еду. Наелся, отогрелся и дрыхнет себе... — ответил напарник.

Умный, как мы нарекли щенка, действительно оказался умной и на редкость сообразительной собакой. Прошло совсем немного времени, и он стал равноправным членом нашей бригады. Службу свою освоил быстро и хорошо. А заключалась она в том, что без лая будил нашего брата, когда ночью кто-нибудь останавливался у дверей проходной, сопровождал нас при обходе территории. Характер у него был незлобивый, знал каждого «своего», а посторонних заставлял относиться к себе с уважением и опаской, поскольку вид имел внушительный. Был всеобщим любимцем. Редкий не приносил для Умного костей — любимого лакомства собаки.

Пришли другие времена. Изменился и Умный. Это уже был не молчаливый, спокойный, знающий себе цену пес. Все чаще он проявлял явное недружелюбие к некоторым работникам гаража. А дело в том, что появление людей с душком и даже откровенно пьяных стало не редкостью. Умный был воспитан в трезвой среде. Запах сивухи вызывал в нем негодование, которое выражалось яростным облаиванием носителя так ненавистного ему смрада. Выпивохи избегали встречи с псом больше, чем с начальством. Но был человек, для которого общих правил не существовало. Частенько бывал он больше чем навеселе. Умный исключения не делал ни для кого, и нам надо было быть начеку, чтобы вовремя взять его на поводок. Беда случилась, когда «неприкасаемого» вынимали из машины. Мы недоглядели, и Умный цапнул его за икру. Пес был арестован и изолирован. Но поздно!

— Чтоб глаза мои не видели эту гадкую псину!

— Расстрелять?

— Выдворить за границу!

— ???

— За пределы моей республики!

В ту же ночь личный шофер укушенного увез Умного по Оршанскому шоссе и, как только пересек границу с Кировской областью, выпустил его из машины. Мы поверили исполнителю приговора и надеялись на возвращение умной собаки. Надежды оказались напрасными.

АНАТОЛИЙ ПОДОЛЬСКИЙ

ДЯДЯ ПРОСКУРИЙ

***

В Крещенье у церкви — народ православный.
В селах российских, в Москве, Ярославле
Народ разночинный, а больше простой,
Крестителю слава, стоит за водой.

Светла и целебна святая вода
Из всех иорданей, реки и пруда,
Чтоб мыслями, делом стали мы чище,
На это есть воля Господняя свыше.

Страну же очистить не хватит и Волги,
Страну очищать будет трудно и долго
От лжи очумелой, бесстыдства и грязи,
У нас расплодилось всяческой мрази.

Но кто же очистит? Когда же начнет?
Пречистой надеждой поднимет народ?
Доколе он терпит, не верит и пьет?
Когда же в Россию мессия придет?

Стоят пред иконой лампада, свеча,
Вопросы святые. Кому отвечать?
Россия, Россия, Великая Русь!
Начнем же… и с Богом. Я тоже впрягусь.

Подольский Анатолий Анатольевич родился в 1953 году в Вологодской области. Автор 5 поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в п. Медведево.

Никольску

Поменял своё обличье
На Увалах городок,
Стал другим и непривычным,
Только прежний говорок.

Как и раньше, прибаутки,
Говор северный, родной,
К вам приеду хоть на сутки,
Здесь народ весь в доску свой.

Пусть теперь под радиолу
Не танцуем у реки,
Поменяли квас на колу,
Только говор, вопреки
Интернету, иномаркам,
Опустевшим деревням,
Близок так же всем товаркам,
Крестным, сватьям, кумовьям.

Я и сам не понарошку
Говорить могу на «о».
Нараспев сказать «лукошко»,
«Баско», «знамо» и «гумно».

К вам приеду, обещаю,
Ни к чему давать зарок,
И опять, уж точно знаю,
Наш услышу говорок.

Дядя Проскурий

За березником в синей лазури,
В свете жарком июльского дня
Сенокосничал дядя Проскурий,
Свой покос начиная от пня.

Этот пень люди «Лешим» прозвали
За его сатанинскую суть.
Ковыряли его, выжигали.
Не дряхлел он с годами ничуть.

А Проскурий старел с каждым годом.
Дети, внуки давно далеко,
Но привычно за речку он бродом
Переходит на пожню легко.

Здесь косили ватагой когда-то,
И на речке поили коней,
Жили дружно, хотя не богато,
Только ныне не видно людей.

Рядом лес, без тропинок, понурый,
А в деревне одни старики.
Звонко косит лишь дядя Проскурий
Там, где «Леший» стоит у реки.

Мама у окошка

Мама у окошка
Ждет меня домой,
Теребя немножко
Полушалок свой.

Я уже не молод,
Но всегда любя
И в жару и в холод
Мама ждет меня.

Старенькая мама
У окна поет:
Пусть домой упрямый
Сын ее придет.

Только мне другую,
Мама, песню спой.
В городах кочую,
Непутевый твой.

И простые слоги
Повтори опять,
Снова их в дороге
Буду вспоминать.

Как к родному дому
Ехал молодец
И вели к другому
Деву под венец.
Нет конца той песне,
Но сюжет один:
Навсегда и вместе,
Не решишь один.

Утром у дороги
Колосится рожь,
Ты не без тревоги
Ангелов зовешь.

Дрогнувшей рукою
Перекрестишь в путь,
«Ты пиши порою, –
Скажешь, – не забудь»

«Ангел по дороге
Пусть тебя хранит», –
На родном пороге
Мама говорит.

Дом родной и мама
Будут снова ждать.
Я, такой упрямый,
К ним приду опять.

АНАТОЛИЙ СКАЛА

КОЗА МАНЬКА И ДИКИЕ ГУСИ

Рассказ

Они выплыли к бережку, высоко неся гордые головы над водой. Было их штук двенадцать, и все разного цвета: от почти белого до фиолетово-синего. Я смотрел на внезапное появление гусей с чувством радости.

— Иди, Владик, смотри, это гуси, — сказал я своему пятилетнему сыну и поставил его на подоконник.

— Чудесное зрелище! — сказал Вова, хозяин дома, в котором мы были, и позвал жену Таню, чтобы та тоже полюбовалась на гусей необычной окраски.

Все мы стали смотреть на неслыханное представление: на зелененький бережок вышли гуси, окрашенные во все цвета радуги, и пошли по тропинке, проложенной к нашему дому.

И все это происходило не в какой-нибудь экзотической Южной Африке, а в России, поблизости от деревни, в которой еще жили люди и было с десяток домов. Правда, деревня была от нас метрах в трехстах, за оврагом. Мы с сынишкой пришли из нее в этот дом на отшибе попить квасу.

Володина бабка Катя всегда делала квас в двухведерной кадушке-квасница. Сантиметрах в пятнадцати от дна в стенке кадушки был кран. Можно было припасть к нему ртом, можно было подставить посудинку, и тогда сладко-кислый с продиринкой квас наполнял до краев все, что бы мы под него ни подставили.

Как уж так получилось — не знаю, но квас в бабки-Катиной этой кадушке не переводился. Даже уехав к сестре в город, бабка Катя устроила так, что прошла уж неделя, а мы с сыном по-прежнему ежедневно со жбанчиком на веревочке пробирались к Володиному дому и по-прежнему находили в кадушечке крепкий квас.

А еще бабка Катя, уехав к сестре, наказала нам козу Маньку, чтоб мы пили ее молоко.

Анатолий Скала (Смышляев Анатолий Андреевич) родился в 1951 году в Кировской области. Публиковался в российских литературных сборниках, на страницах республиканских изданий. Живёт в Йошкар-Оле.

Коза каждое утро съедала весь дягиль, растущий вокруг дома, а ближе к полудню спускалась в овраг и там, в тишине и прохладе, перерабатывала его в сладкое молоко. Но уже ближе к вечеру вся поляна опять зарастала травой дягилем, а в последний предзакатный час или два он уже делался белым и пенистым, как только что выдоенное молоко. А к утру зонтики дягиля набирали в себя столько воды, что под утро, отяжелев, наклонялись к земле и при самом малейшем прикосновении каждое двухметровое трава-дерево выливало на голову по ушату холодной воды.

Под осенним моросящим дождем, летним ливнем, под весенним холодным и бодрым дождиком приходилось мне находиться, но нигде никогда не случалось промокать так, как в нашей деревне в июле под дягилевым дождем.

Ну так вот: в одну сторону от бабки-Катиного дома был овраг, отделяющий дом от деревни; с другой стороны и под окнами простиралась болотинка с тихой черной водой; гуси вышли на только что освободившееся от травы Манькино пастбище и двинулись по тропинке в сторону дома.

Я взял сына под мышки и, высунувшись из окна, отпустил его на землю — пускай полюбуется на столь дивных птиц и проявит свою храбрость. Я еще опасался, что гуси, увидев, как я выставляю сынишку на улицу, испугаются и улетят, а они даже голов в нашу сторону не повернули. Сынишка махнул на них ручкой и двинулся наперерез их шествию.

И тут я внезапно перепугался. Птицы были громадными. По сравнению с Владиком даже шеи их были мощными, словно бревна. Один удар клювом или же крылом такой птицы мог свалить малыша с ног... А вдруг они набросятся на него разом, все вместе?!

— Владик! Владик! Не надо! Беги быстро ко мне! — закричал я испуганно и полез выручать сына, и тоже через окно — так казалось короче, поэтому и быстрее. От страха я плохо соображал и вместо того, чтобы вылезть в окошко ногами, полез из него головой.

Мои брюки наделись карманом на гвоздь, вбитый в стенку, и я оказался в подвешенном состоянии, как червяк на крючке, и болтался, едва задевая руками землю и не имея возможности сняться с гвоздя.

И так извивался и болтался я, пока не разбил раму ногами и не опрокинулся вместе со стеклами и обломками деревянного переплета на улицу.

Вскочив на ноги, я метнулся к сынишке и увидел совсем не гусей, а людей... Они были высокими, стройными, как цветные карандаши. И их было тринадцать. На одного больше, чем в той старой сказке. Как потом оказалось, тринадцатой была женщина – она была цвета вишни. Остальные — мужчины семнадцати-двадцати пяти лет — были всех цветов радуги.

Я не сразу сообразил, что они-то и есть гуси, приплывшие к нам на лужайку. А когда все же сообразил, у меня перестала бежать кровь из порезанной стеклом раны.

Впереди шел вожак цвета спелого лопнувшего банана, за ним — белый гусь, превратившийся в человека, там оранжевый гусь, за ним — красный,

чуть дальше — малиновый и зеленый. И так все друг за другом гуськом. У меня зарябило в глазах. Владик был рядом с ними, махал рукой и, как добрый хозяин пересчитывает возвращающихся вечером птиц, пересчитывал наших гостей. Принимал, как говорится, по счету, поштучно.

Это было невероятно смешно. Сын умел считать только до десяти, а гусей, то есть гусе-людей, было тринадцать. Владик морщился и готов был заплакать. Я взял его на руки и шепнул: «Малыш, их здесь чертова дюжина».

И малыш успокоился. Ему было известно, что дюжина — много, значит, чертова дюжина еще больше. А до стольких считать он еще не научился, поэтому и переживать было не из-за чего.

А незваные гости прошествовали через калитку во двор и остановились. Самый главный сказал:

— Здесь у нас будет лежбище. Лучше, главное же, спокойнее места для линьки и не сыскать!..

Тут он здорово ошибался, но это стало понятно намного позднее. А пока все прибывшие гусе-люди загомонили и начали двигаться по ограде... Но не как наши домашние гуси, которые тычутся во все щели, не зная и сами, чего им там надо, а обдуманно и, похоже, заранее зная, что им требуется.

Они разобрали забор и поставили его в другом месте, отгородив себе от полянки прямоугольник метров пять или шесть ширины и такой же примерно длины. Изнутри по периметру начали строить нары; но материал скоро кончился и работа остановилась.

Сине-зеленый с оранжевыми волосами гусь обследовал бабкин колодец — и будка, в которой скрывался от непогоды источник вкуснейшей воды, уплыла на строительство. За ней пришла очередь сараюшки, в которой жила коза Манька...

Я потом не раз думал: проснись тогда Манька, приди из тенечка полюбопытствовать, что скрипит и трещит у нее в сараюшке, и все было б иначе. Но коза в это время перерабатывала съеденный дягиль на молоко и ни о чем не заботилась. А потом было поздно!

Когда от уютного Манькиного жилища не осталось ни колышка, я пошел сказать другу Володе, что пора выносить из дому самое необходимое, потому что строители уже начали задирать головы и разглядывать крышу на бабкином доме.

В это время Володя сидел у окошечка и поглядывал на гусиное лежбище. Оно было почти что готово, но без крыши, поэтому вид имело еще некрасивый... А всем известно, что больше всего Вова любил, чтоб все было красиво. У него даже жена Таня была самой красивой в округе, не считая, конечно, мамы моего дорогули-сынишки — он всегда всем так прямо и говорил: «Моя мама самая больсая класавица в мире».

И сейчас Вова не стал отступаться от принципа, что вокруг все должно быть красивым, поэтому шепотом произнес:

— У меня там в углу, за квасницей, есть четыре куска рубероида. Может быть, им понравится?

— Ты вещички-то все-таки приготовь... А то вдруг не понравится, — посоветовал я.

— А Танюшка уже собрала, — махнул рукой Вова.

Жена у Володи была, без сомнения, красавица, но уж больно ленивая. Она кое-как повязала в узлы, что попалось ей под руки, и сейчас перед зеркалом разукрашивала свои щеки. А губы уже были готовы.

А еще у Володи с Татьяной была дочка по имени Света. Она была почти одного возраста с моим Владиком, может быть, чуть помладше. Когда прибыли гости, она крепко спала. И сейчас, увидев во дворе разноцветных людей, отыскала альбом со своими рисунками и настойчиво отвлекала от зеркала мать.

— Ты мне что говорила? Что зеленых людей не бывает? А на улице — посмотри: и зеленые, и оранжевые, и всякие-всякие...

— Иностранцы они, иностранцы. Как ты этого не понимаешь? — отговаривалась Татьяна.

— А иностранцы — они что, не люди? — добивалась ответа Светланка.

— Они — гуси. Сюда из болота приплыли, — со знанием дела ответил ей Владик.

— Гуси? — прямо похорошела художница. Разве гуси бывают, как листики?

Мой сынишка раскрыл рот от растерянности и посмотрел на меня, предлагая и мне поучаствовать в разговоре.

— Гуси — нет, а вот утки бывают, — сказал я, подводя этим сына. Света сразу же обвинила сынишку в обмане:

— Ну, вот видишь! А ты сказал — гуси!.. Значит, утки? — спросила она. Сын рассерженно засопел:

— Я сам видел... Мы с папой видели, как они разноцветные приплыли и по берегу шли.

— Они кто? Утки, гуси или люди? — потребовала девочка окончательного прояснения в этом вопросе.

— Иностранцы они. Иностранцы, — неожиданно помогла нам Татьяна.

Её дочка опять уцепилась за старое:

— Иностранцы — они что, не люди?!

И я, облегченно вздохнув, пошел в сенцы за рубероидом, оставляя Татьяну одну в этом их соревновании по упрямству.

Когда через полчаса я зашел в дом за посудой, Татьяна заученно повторяла:

— Утки... гуси... иностранцы... — и так далее по порядку.

Посуда мне, кстати, потребовалась для гусей, то есть для иностранцев.

Татьяна точней некуда определила одним этим словом и статус, и вид, и национальную принадлежность гостей... Хотя их гостями назвать было трудно... А если подумать, гостями назвать их, пожалуй, было нельзя...

Они, не спрашивая, забрались к нам во двор, разобрали почти все подворье; когда я принес им кусок рубероида, тут же пошли за мной следом и одним рейсом очистили сенцы от всяческой рухляди, дожидавшейся часа быть пущенной в дело. В том числе прихватили они и квасницу. По-моему, это было уже просто нахальство: квасница нужна нам и самим. Мы с сынишкой еще и в жбанчик квасцу нацедить не успели, а они всю квасницу в свое лежбище утащили.

И главное, как все скоро у них получалось! Мы и глазом моргнуть не успели, а какой-то оранжевый гусь приглашал нас к столу отобедать окрошки из бабкиной этой квасницы…

И зелень у них в загородке, смотрю, уж поспела: растение, по виду напоминающее наш чеснок, только перья пошире и разноцветные. Присмотрелся я повнимательнее: да ведь это их перья, гусиные! И они их и так кушают, и в кадушечку накрошили… И меня потчуют: дескать, ешь, давай, ешь!

«Ну, нет! — думаю — Подожди… Может, вам эти перья и хорошо, а я как-то к этой экзотике не привык… Лучше я себе дома окрошку из огурцов с луком сделаю, да сметанки туда подпущу, да укропу добавлю… А уж вы свое кушанье сами, пожалуйста, как-нибудь убирайте…»

А Володе с Татьяной гусиное предложение передал. Говорю: «Если хочется с иностранцами пообщаться — идите. Они там окрошку сготовили, вас к столу приглашают. А мы с Владиком пойдем Маньку доить; молока себе в жбанчик нальем, раз уж квасу нам не хватило».

Таня с Вовой решили, что мир, дружба и все прочее их обязывают появиться на публике. А то как-то бы неудобно: хозяевам — и сидеть взаперти, когда гости на двор прибыли.

Ну вот, вышли они из дому… И такой, я скажу вам, фурор на иностранное общество произвели, что представить себе невозможно…

Как увидели гуси Татьяну, так сразу и замолчали. А потом как залопочут, зацокают языками, из-за стола повылазили и давай головами кивать: дескать, милости просим окрошечки нашей откушать! А стол у них тоже из досок: пристроили пару тесен на какие-то чурбаны — вот и стол. И скамеечки точно так же. И все это здорово выглядит со стороны: ну идиллия прямо какая-то из пастушьих романов посредине двора! Та мулаточка, что тринадцатой в этой дюжине подвизалась, Татьяну под ручку схватила и рядышком на скамеечку усадила: с одной стороны она Тане окрошечку подливает, с другой — ей гусь лапчатый, с переливами, перо луко-гусиное, словно редкий цветок, к щечкам подносит. А Вова сидит красный с досады и на красивую Таню и ее ухажера поглядывает… А сделать чего-нибудь невозможно: фройндшафт, дружба!!! И на тебе международный скандал!

А мы трое пошли Маньку отвязывать. Коза после отъезда бабуси Светланку хозяйкой определила и никому больше подчиняться теперь не желала, а упрямства у Маньки было не занимать. Она и доиться нигде кроме как в собственной горнице не доилась. И мы отвели ее в новый

гусятник... А где мы доить ее, спрашивается, должны были, когда все жилище у Маньки на нары использовано оказалось?

Мы ее к этим нарам и привязали: все же запах для Маньки знакомый. Пока, думаем, вы банкетами там занимаетесь, мы у Маньки все дягилево молоко выдоим и опять отведем на полянку, пускай дальше его вырабатывает!

Манька вроде бы против этого не возражала: понюхала она досочки, полизала и принялась за делянку, которая между нарами поднималась.

«Ладно, — думаю, — пусть жует эти перья, раз нравятся, — еще вырастут! Все равно при такой скорости произрастания гусям с этой делянкой не справиться!» Еще и обрадовался, потому что доить Маньку, когда она просто бездельничает — настоящее наказание: то ногой лягнет, то рогами ткнет, то еще что-нибудь нарочно сделает. Только и знаешь — с ведерком вокруг ее бегаешь. А когда она что-нибудь ест, подоить ее сущие пустяки...

Уже через час молоко из Манькиного вымени было в подойнике, и я с удивлением заметил, что при дойке мы не нарушили ни одной доски и не выломали ни одной стены. А раньше такое случалось.

После дойки козу требовалось возвратить в дягиль, а Света куда-то исчезла!

Как потом выяснилось, она в это время подписывалась под собственноручно написанными портретами и раздавала их иностранцам. Причем делала все это бескорыстно — ни долларов, ни прочей валюты у гусей с собой не было. Особенно пятилетней художнице удался групповой портрет гостей в виде радуги. Я потом его видел и должен признать: сходство с натурой на нем проявилось особенно ярко. Да, именно ярко — более точного слова, пожалуй, не подберешь.

Когда после дойки коза заупрямилась и не захотела уйти подобру-поздорову из занимаемого помещения, я стал громко звать Свету на помощь. Вместо нее в дверь просунулась ярко-синяя гусиная голова и мгновенно исчезла.

Я не стал ждать скандала, схватил Маньку за загнутые рога и потащил к выходу. Она предательски заорала и, словно циркач, встала на голову. По-моему, стойка у Маньки получилась нисколько не хуже, чем у профессионала. Я взял веревку, к которой была приспособлена Манькина шея, перекинул через плечо и поволок козу к выходу. Причем Манька ехала на спине, задрав кверху ноги, и восторженно голосила, предупреждая всех встречных о своем передвижении.

Не обращая внимания на иностранцев, я проволок козу перед всей этой публикой и остановился в овраге с намерением привязать ее к колышку и тем самым уже окончательно завершить дойку.

Но только я взялся за колышек, коза резво вскочила и галопом направилась к злополучному сооружению иностранцев.

Они, как на беду, все до последнего находились в гусятнике и опла-

кивали сгубленный урожай своих перьев. И, что самое главное, необдуманно и безответственно оставили дверь в гусятник незапертой.

Коза тут же воспользовалась этой их беззаботностью, ворвалась внутрь гусятника и устроила в нем скандал. Впрочем, на этот раз все кончилось более-менее благополучно, и большинство иностранцев успели спастись от рогов козы на своих нарах.

Но на этом дело не кончилось.

Теперь уже Вова, не доверяя нам важного дела, собственноручно отбуксировал Маньку на пастбище и совершил ту же ошибку, какая случилась со мной.

Когда мы с сынишкой услышали Вовины вопли и поспешили на помощь, коза уже билась рогами о забаррикадированное изнутри помещение гусятника. И по растрепанной Манькиной бороде было видно, что конфликт с иностранцами разрастается в полномасштабную затяжную войну.

Я взял жбанчик, наполненный Манькиным молоком, и мы с сыном отправились восвояси. При этом в душе я предчувствовал, что залетные гости еще хлебнут горя с норовистой Манькой.

На следующий день мы с сынишкой проснулись, я глянул на сына и сразу заметил на розовых щечках пух.

«Ну, вот, — думаю, — прохудилась подушка, придется сейчас собирать в комнате пух». А чтоб эта работа не выглядела утомительной, я придумал дразнилку и быстро проговорил: «На лице вырос лес, дорастет до небес, если мы сейчас с тобой не умоемся водой...» Тут бы надо добавить чего-нибудь про уборку постели, но Владик не дал мне возможности досочинять. Он рассмеялся — да так весело, что я позавидовал его смеху — и пребольно щипнул меня за щеку. Я, признаться, не ожидал от сынишки подобного... Но чтоб показать, что, несмотря ни на что, папа на Владю не обижается, аккуратно убрал со щеки сына прилипшую к ней пушинку. В глазах сына мелькнуло недоумение и удивление, а в следующий миг он уже рыдал во весь голос.

Не понимая, в чем дело, я бросился успокаивать Владика и мимоходом убрал с его тела еще несколько точно таких же пушинок — сынишка зашелся в отчаянном визге, и я с трудом и не сразу сумел его вновь успокоить. Он, кажется, задремал.

Стирая с лица пот, я взглянул в зеркало. Разумеется, подбородок мой был в пуху.

Я схватил пальцами сразу несколько тощих пушинок и бросил их на пол. На том месте, где были пушинки, появились отверстия и ощущение, что меня кто-то ткнул в то место иглой. А из дырочек показалось по капельке крови.

Я задумался и оглядел сына. У него были точно такие же покрасневшие пятнышки, а кое-где вновь возникли пушинки.

Я взглянул и на жбанчик, в котором вчера было Манькино молоко. Жбанчик был безнадежно испорчен — он весь зарос пухом, особенно изну-

три. Видать, эти гусиные перья имели столь чудное свойство, что, будучи съеденными, прорастали откуда бы то ни было... Манька вволю наелась их в сараюшке, мы попили Манькиного молока и начали обрастать пухом.

«Интересно, — подумал я, глядя на жбанчик, — если даже продукт Манькиной переработки привел к столь печальным последствиям, то что происходит сейчас с Манькой и прочими поедателями перьев? Ведь они ели их непереработанными, так сказать, в живом виде?»

Я помазал зеленкой сынишкины и свои ранки от выдернутых пушинок и позвал Владика в разведку.

Идея была встречена с энтузиазмом. Мы выступили по тропинке, ведущей к Володиному дому, и, пока добрались до оврага, вымокли до невозможности. Здесь мы коротко посовещались и высунули головы из травы.

Вдоль оврага ходила какая-то куча перьев, похожая с одной стороны на павлина и с другой — на чудовищного Бармалея. Я прицокнул от удивления: вот так Манька! И что с тобой сейчас будет? Ни рыба ни мясо, ни гусь, ни овца; так и будешь ходить на посмешище всей деревне! Словно в ответ на мое замечание Манька грустно проблеяла.

Мы с сынишкой подставили руки-трубочки к нашим глазам и, как будто в бинокли, внимательно осмотрели весь дом и сарайку-гусятник. Нигде никого не было видно. Но шум, доносящийся от гусятника, говорил, что там происходит чего-то неладное.

Мы оставили наше укрытие и решительно двинулись через овраг... И в это же время из лежбища-сараюшки показалась процессия иностранцев. Но на что же они были похожи! Не успевшие обзавестись настоящим гусиным убранством, со ссадинами и царапинами от Манькиных вездесущих рогов, они шли друг за другом, не глядя по сторонам, и надменно молчали.

Буквально секунду назад вся округа была переполнена этим их гомоном, и вдруг — мертвая тишина. Я подумал: «Уж все ли ладно с Володей и Таней? Куда они это запропастились?» Но тут же увидел, что Вова здоров и выглядывает из окна...

Он подергивал правый реденький ус, при этом рука его совершала движения, какие бывают, когда человек что-то выдернул и бросает подальше куда-нибудь в сторону то, что выдернул...

Иностранцы же — все тринадцать — были явно настроены на отбытие, были чем-то обижены и старательно демонстрировали эту обиду. Они игнорировали все вокруг, словно не замечая ни нас с Владиком, ни Володю, выглядывающего из окошка, и уж тем более козу Маньку в овраге. А видели лишь тропинку, ведущую их к воде. И то видели с явным неудовольствием: вот дойдут до воды, а там хоть и тропинки не будь.

И вот первый из них ступил в воду и замер от восхищения перед любимой стихией. Потом он подвинулся и уступил место следующему, чтобы тот тоже мог самовыразиться через любовь к камышам и презрение ко всему, что осталось на суше.

Остальные стояли и ждали своей очереди.

И вдруг они разом загомонили, бросились в воду и тут же у берега принялись окунаться, потряхивать ручками-ножками и превращаться в гусей. Самые нетерпеливые колотили по воздуху крыльями, на которых были видны еще не успевшие вылинять пальцы, и пытались взлететь.

А то, что их так напугало, уже с громким блеянием приближалось к реке. Разумеется, это была коза Манька. Я хотел ухватиться за привязь, которая волочилась за ней, но не успел.

Гуси, тоже не успев как следует принять птичий вид, удирали от Маньки по мелководью.

Манька прыгнула в воду, какое-то время ее не было видно совсем. Потом она вынырнула на поверхность, но здорово изменившаяся. Теперь она была больше похожа на водоплавающую, чем на дойную козу. С каждым следующим погружением она все более охорашивалась, а ее блеяние становилось похожим на резкий гусиный крик.

С этим криком она и отправилась догонять удирающую от нее стаю.

Я пошел по тропинке к воде и подобрал привязь — все, что осталось от Маньки. Напоследок мы с сыном увидели бабки-Катину козу уже в воздухе. Она, видимо, догнала в камышах иностранцев и вынудила их взлететь. Над деревьями появились четырнадцать тяжело машущих крыльями разномастных гусей. Последний, четырнадцатый, был заметно пушистей других и махал крыльями чаще и тяжелее, но не отставал и пронзительно верещал. И все они исчезли за облаками.

Мы с Владиком зашли в дом. Положили перед Володей веревку и выразили сожаление по поводу дезертирства козы. Володя кивнул головой и сказал, что все видел: «Бессмысленное животное, захотело гусыней стать... Вот бабуся приедет...» И замолчал, видно, понял, что даже бабуся не в состоянии сейчас вернуть Маньку.

— А у вас у самих как? — спросил я о событиях, происшедших без нас. И рассказал, как после Манькиного молока квасной жбанчик у нас стал похож на гусенка.

— У меня тоже пух был — повыдергал. Светка Манькиного молока не пила и окрошку не ела — у нее обошлось. А вот Тане пришлось перышки повыдергивать, а то тоже, как Манька, в гусыню бы превратилась: наелась вчера у них зелени, — отвел глаза в сторону наш Володя.

— А квасница? — припомнил я главное.

Вова только махнул безнадежно рукой:

— Пропала квасница...

Мы простились с Володей и отправились восвояси: ни кваса, ни молока в этом доме для нас больше не было, а всему виной была взбалмошная Манька.

АЛЕКСАНДР КОКОВИХИН

НЕ НАДО ПЛАКАТЬ, НАДО ЖИТЬ...

***

Нам, шизоидам безродным,
всё на свете беспросветно,
бессистемно, бестолково,
наобум и на авось...

Как нам жить? В тумане плотном
заблуждений, догм заветных...
Мы в ответ находим слово,
а уже другой вопрос.

Нас, шизоидов, боятся
очевиднейшие вещи,
вдруг ломаются, как дети,
телефоны и пульты...

Крутолобые – как яйца,
мимолётные – как свечи,
мы мешаем всем «как эти»,
добавляя суеты.

Ничего от нас не надо
ни вождям, ни даже Богу,
над искателями смысла
мы порхаем как хотим...

Пахнет снами наша правда,
наша ложь зовёт в дорогу,
наплевав на деньги, числа
и на прочий тыгыдым.

Коковихин Александр Михайлович родился в 1967 году в Йошкар-Оле. Автор 3 поэтических сборников. Лауреат Государственной молодёжной премии имени Олыка Ипая. Член Союза писателей России. Живёт в Йошкар-Оле.

Музыка

Хочу туда, где сосны в три ряда…
Анна Жидких

Беги за край и сосны не считай!
Ты слышишь музыку? Она не потерялась,
а спряталась в галдёж замёрзших стай,
в другую, несмышлёную реальность.
Пугая расписную молодёжь,
не понимающую в долгих отношеньях,
раздвинешь дождь, но музыку найдёшь,
придумаешь ей бантик и ошейник.

Отдашь стишок, с рожками пирожок,
отдашь проигранное сердце (плоть от плоти) –
и, может, ей так станет хорошо,
что вырастет и всю тебя проглотит…

Наверно, депрессивное

Так бывает: купишь пачку «Курение убивает»
и бредёшь себе, не умираешь…
А стихи – как чужие – сухи,
а рифма – совсем кривая.
«Гумно, понимаешь», – говорит по перу товарищ.

Так бывает…
Не лепится и не клеится.
Лампочка не горит, а лестница
знакомая притворяется незнакомой.
Чертыхаешься, спотыкаясь, роняешь ключи,
как ни крути, надо бежать из дома –
а ты уже дома, засохшие ищешь харчи…
А тоска никуда не делась,
телевизор включила, разделась,
на кровать забралась невесомо…

Так бывает,
твёрдая линия, волевая,
по которой – только вперёд, никого не жалко,
вдруг становится мягкая, как скакалка,
так скакал бы…
Но морщишься, выживая.

Жизнь остановилась

Оттого, что меня ты не ищешь,
космонавты спустились с небес,
не осталось вождей настоящих,
съела рыбу одна из невест…

Оттого, что меня ты не любишь,
отменили восстанье рабы,
разлепились пельмени – не слепишь,
Римский Папа пошёл по грибы…

Оттого, что меня ты забыла,
гол забила команда гостей,
оторвалась доска от забора,
и не стало совсем новостей…

***

Я любовь свою убивал.
Бил об стену.
Колол ножом.
И на цепь сажал,
и в подвал…
«А с тобой,– кричит, – хорошо!»

И живёт себе,
и цветёт.
И не требует ничего.
Лишь бы только
порвал ей рот!
Лишь бы только –
ногой в живот!

«Ах ты, дура! – говорю, –
Дрянь!
Отпусти,
хватит песни петь…»
А она –
распахнула ткань.
А она –
подаёт мне плеть.

Сил уж нет. Погибаю сам.
А она…
у л ы б а е т с я…

***

Знаешь, чувство к тебе растёт…
Разрастается грозно в стороны!
Вот обходит меня народ.

Вот хирург замолчал. Взволнованный.
Чувство прёт. На глазах. Ветвясь…
Скоро гнёзда начнут вить вороны.

Я стал деревом. Просто вяз.
Просто дуб с тополиной чёлкою.
Шёл к тебе да в дверях увяз.

Папарацци крадутся, щёлкают:
«Клён в пальто атакует дом!..»
Обстриги! Или будь мне ёлкою!

Корни пустим с тобой вдвоём.
И срастёмся. И заживём.

***

Западая на шлюх и простых продавщиц,
что сверкают от уймы блескучих вещиц
и всегда к продолженью готовы,

я плыву по весне, как по морю весло,

непонятно, откуда меня принесло,
видно, раньше оттаял, чем стало тепло,
и глядят с любопытством «оторвы»…

Ничего с меня, девушки, не поиметь.

Я солдатик, впитавший измену и смерть,
и в кармане худом бултыхается медь,
что совсем не мешает задорно

продавщицам подмигивать, шлюхам простым,
мол, ещё мы разгоним отечества дым
и отделим любовь от попкорна…

***

…А я говорю даже трезвый за многих умниц:
никогда не отдам классическую дурёху,
что тащит за мною вязанку годов и улиц,
то рабыню напоминая, а то эпоху…
И нет в ней игры,
осторожного зла и лоска,
чисто женского «не хочу, не сегодня, милый…»
Но может она…
если мне нужен лист – быть плоской,
или ямой холодной – если нужна могила…

***

Смех неясный, еле различимый,
или где гудит водопровод…
Женщина одна. На кухне. Без мужчины.
И, конечно, ждёт.
Ждёт, ждёт, ждёт.

У него дела. Срочные, как роды.
У него серьёзные друзья.
И семья другая. И другой город.
Вот и вся любовь.
Вся, вся, вся.

Крылья

Не брести мне сушею...
Юрий Левитанский

Не брести бы сушею…
«Слушаю», –
отозвался Бог на звонок.
Взмыть бы птицей белою!
«Сделаем!» –
хрип, смешок да кашель.
Гудок…

…И за булкой всякою –
чайкою
я с тех пор бросаюсь в волну,
и за килькой дохлою –
дёргаюсь…
Боже, можно крылья верну?!

Не надо плакать, надо жить...

Не бойся сказки. Бойся лжи.
Валентин Берестов

Не бойся сказок. Бойся лжи.
Почти не горькой полуправды.
Приполз, коленки ободрав, ты...
А там пустыня. Ни души.
Мираж. Достали миражи!

А тут какой-нибудь верблюд
ещё в себе не разберётся,
а уж народ к воде ведёт сам...
И ты идёшь. И все идут.
Вперёд! В неведомый капут!

Не надо плакать. Надо жить.
Бежать, идти, ползти, тянуться!
Мечты достичь, а не уютца!
Вручную – через море лжи
и правды голые ножи...

Нож

Непогода, осень – куришь,
снег, зима, морозы – пьёшь.
Пусть скорее грянет буря,
наточил бродяга нож.

Хочешь крови? Революций? Справедливости самой?
Причешись, прикрой ширинку и лицо своё умой!

Бог накажет, суд подскажет,
прокурор найдёт статью,
нескончаемую кашу
расхлебаешь – и адью...

Ничего непоправимо. Киснет детский творожок.
Смерть придёт – и станет ясно, что такое хорошо.

Дар напрасный – свет в проёме,
жизнь толкает – не свернёшь.
Никого не будет в доме,
не бери с собою нож...

Звезда во мгле

Звезда полей горит, не угасая…
Николай Рубцов

«Звезда полей во мгле заледенелой», –
читаем классом с чувством и по кругу
стихи поэта (завуч нам напела),
удушенного собственной подругой…

Зачем горит? Чтоб освещать сугробы?
Мы отвечаем, ни черта не зная…
А через год – рванёт звезда Чернобыль!
А через пять – рванёт страна родная!

Звезду полей уже никто не вспомнит.
Поля, вздыхая, лесом зарастают…
А без поэтов пьяных и бездомных –
звезда горит, как лампочка простая.

***

Необходима лужа во дворе…
Без сапожищ не проскочить игриво,
поскольку август тонет в сентябре,
в косых дождях осеннего призыва.

Эх, лето… Уступило рубежи,
ушло в подполье, закаталось в банки.
И цветики, которым бы пожить,
горят в траве, как брошенные танки.

Не повоюешь с ходом бытия.
Сдаются листья в плен сквозному ветру.
Вся горечь в том, что где-то здесь и я,
присягу давший солнечному свету.

Придерживаясь женщины с зонтом,
иду на чай с баранками тугими.
И плакать не пристало мне о том,
о чём давно наплакано другими…

Предчувствие полёта

В старости
нет вопросов
к своей отчизне.

Скоро взлёт.
Ты – шарик.
Тебя надули.

(Если доктор
даст две недели жизни,
надо просить в июле)…

Нет, кроме смерти,
какой-то другой
свободы.

Можно всмотреться,
сделать ещё попытку
и разглядеть,
как в небо
с восторгом уходят
шарики-души
тех,
кто ослабил нитку…

Провинциал

Не стой, как школьник у борделя,
у стен Московского Кремля…
Тебе там точно не постелют
и не отсыплют карамелек,
когда оставят без рубля.

Как Пушкин без бронежилета,
куда ты лезешь на рожон?
Что, неустроенность «паета»?
Тут не устроена планета,
и наномир не укрощён…

Народ хоть пьян, да не быкует,
ему немножко до балды –
Москве видней, Москва банкует,
и в ней свернёшь себе башку ты,
как предыдущий «дубль ты»…

***

В наших джунглях за окном хлопочет снег,
пахнет жареным картофелем из кухни.
На тахте сидит бесцветный человек,
электричество в глазах вот-вот потухнет.

Не лихим чердачным снайпером прошит,
не зарезан алкоголиком дворовым,
а по воле им прирученной души
он убит неосторожным честным словом…

***

У пропасти
ты встанешь на краю,
подумаешь:
сейчас перекрою
заезженный сюжет…
И не взлетишь,
не упадёшь,
взрывая криком тишь,
не убежишь
и не построишь мост,
и не попросишь
милости у звёзд…
А просто дом
поставишь на краю,
у пропасти,
на грани,
но в раю…

***

Кровь и гарь боёв
заметают пески,
в травах диких
шрамы сражений тонут…

И встают пластилиновые полки
перед крепостью из картона.

И пока ещё важно,
кто пригорок займёт
и кому достанутся
пленники и знамёна…

Старый бог
налегает на «кальций-йод»,
чтобы помнить всех
поимённо…

Врагам России

Попробуйте, сразитесь с нами –
мы заиграем кулаками!
Кто схватит вилы, кто топор,
кто динамит погрузит в санки,
а кто на дедушкином танке –
все встанем в строй, чтоб дать отпор…

Не оставляйте нас в покое!
Не то мы зарастём тоскою,
щетиной, тупостью, репьём.
Спалим себя в лесных пожарах,
в резне, грызне, обидах старых.
И сами родину пропьём…

Она улетела

О нет, я не город с кремлём над рекой...
А. Тарковский

Я тоже не город с кремлём над рекой
и даже не улица Мира,
чтоб ждать эту женщину годик-другой,
домами толпясь простодыро…

Не жду, не зову, не включаю фонтан
и небо не рву фейерверком.
Она не вернётся. Здесь кризис, а там –
богато, по нынешним меркам.

Она не планета, что станет родной,
закружит меж звёзд без усилий…
Она не такая, и я не такой.
Мы умерли. Нас подменили.

***

Мы рая не достойны.
Творим во зле-обиде
убийства, пытки, войны…
Но Бог, всё это видя,
не скомкал жизнь без шума,
не спрятал нас от солнца,
наверное, подумал,
что сами рассосёмся?..

***

Мы торопимся жить. Ищем лёгких денег.
Лезем вверх. И шустрим. И крадём. Всё мало.
И красавиц хотим. И хором отдельных.
И прославиться тоже бы не мешало.
Мы, локтями пихаясь, спешим угрюмо
проскочить В ПРЕИСПОДНЮЮ поскорее…
Там ребята душевные. Ценят юмор.
И поймут, и припомнят, и обогреют.

***

Может, не надо браться
стену разрушить лбом?
Может, не надо счастья?
Не для того живём…

Может, мы зря старались
вывести мир на свет?
Бочки ещё остались,
да Диогенов нет…

***

Рыба ли ищет, где сеть… Птица ли пулю…
Умник ли в атом полез, дурень ли в улей.
Трудно богам разобрать, кто куда лезет.
Плавная речь мудреца, детский ли лепет…
Где нам паденье, где взлёт? Камушки с кручи.
Диких случайностей рёв – гуще и гуще.
Только мозаика всё. Только осколки.
Шить бы да шить! А не шьёшь. Нитка в иголке…

ИГОРЬ КАРПОВ

ВНУТРЕННИЙ СВЕТ СВЯТОЙ РУСИ

Революции и традиции в истории русской жизни и словесности

В современном «светском» литературоведении историко-литературные курсы в вузе (да и в школе) строятся по одному шаблону: сначала даётся обзор исторической эпохи и литературной ситуации, далее – по направлениям (классицизм, сентиментализм, романтизм и т.д.), и наконец – изучение творчества отдельных писателей.

Можно и так, но что объединяет все этапы многовекового развития русской словесности? Что определяет её коренные свойства, без которых она не была бы *русской* словесностью?

Несколько лет назад я определил для себя следующее. Первое: *русская словесность – это словесность русского народа*.

Иное понимание проблемы соотношения писателя и этноса даёт энциклопедия «Википедия»:

> «Русские писатели – это писатели, создававшие произведения на русском языке, независимо от национальности, гражданства и места пребывания».

При таком решении проблемы получается, например, что русские писатели-аристократы эпохи Екатерины II – А. П. Шувалов, А. М. Белосельский, С. П. Румянцев, «блестяще писавшие по-французски», – писатели французские.

Определение «свободной» энциклопедии, когда космополитизм как элемент глобализации проникает во все поры нашей культуры, – характерный признак сегодняшнего времени с его тотальным уничижением русских, попыткой лишить русских своей идентичности, в данном случае – и своих писателей. Это касается не только русских. Если нашим друзьям марийским писателям, пишущим на русском языке, сказать, что они русские писатели, думаю, они этому, мягко говоря, не поверят. Потому что они – русскоязычные марийские писатели. И в этом их своеобразие: на русском языке они несут своим единоплеменникам и другим народам своё национальное мировосприятие, свои традиции.

Карпов Игорь Петрович родился в 1952 году в г. Кисловодске. Доктор филологических наук. Автор 6 книг по русской литературе. Живёт в Йошкар-Оле.

Второе, что я определил для себя: русская словесность есть единство трех её частей в их сложном взаимодействии – *мирской словесности* (былины, песни... до современного анекдота или молодёжного фольклора), *духовной* (Святое Писание, святоотеческое предание, духовная публицистика, начиная от «Слова о Законе и Благодати» митр. Илариона... до трудов митр. Иоанна (Снычева) и *светской* (от «Слова о полку Игореве» до современной литературы). Конечно, есть и пограничные явления, есть и своеобразие русской словесности в каждый исторический период.

При таком понимании русская литература оказывается теснейшим образом связанной с историей русского народа (русского этноса), с историей Русской Православной Церкви (в том числе историей религиозно-философских течений).

Образным воплощением этого единства может быть представление сидящими за одним столом и слушающими друг друга А. С. Пушкина – митрополита Филарета (Дроздова) – и Арины Родионовны (Матвеевой): в едином диалоге соединись бы слово светское (литературное), слово духовное и слово народное.

В день своего рождения 26 мая 1928 года А. С. Пушкин сетовал на жизнь:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Митрополит Филарет понял пессимистическое настроение поэта, его жалобу на слепой жестокий рок. Подобные настроения были широко распространены в начале XIX века. И митрополит Филарет ответил на эти настроения в стихотворении:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога нам дана.
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

А. С. Пушкин признал правоту митрополита и ответил большим стихотворением (процитирую, как и в предыдущих стихах, только несколько строк):

Твоим огнём душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Арина Родионовна, «подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя» (А. С. Пушкин) забавляла бы и поэта, и митрополита народными сказками или пленительным рассказом «про стародавних бар».

При таком понимании русская литература становится литературой общенародного единства, а также литературой побед и бед русского народа. Лучше сказать «беды и победы», потому что сначала народ настигает беда, а потом уже по-беда (или поражение).

Замыкаясь во внутрилитературной классификации, в «жанрах», «стилях», «поэтиках», мы порой забываем, что литература есть реакция на общественные события. Она неотделима от них,

она – часть жизни народа, она существует в этнической истории как «истории событий в их связи и последовательности». Это я цитирую Л. Н. Гумилева, который применил системный подход к исследованию жизни народов (этногенезу), вводя в научный оборот понятие «событие» и определяя его как утрату. Пока человек или народ что-то приобретает, пока система усложняется – это воспримется как само собой разумеющееся. Но как только люди утрачивают национальные традиции, религиозные обряды, даже привычную обеспеченность – это осознаётся как утраты.

***

Самыми большими бедами в нашей истории были войны, внешняя агрессия. С этими бедами русский народ вместе с другими российскими народами справлялся.

Но есть беды не менее сильные – это три революции, потрясшие нашу страну изнутри: революция Петра Первого (рубеж XVII–XVIII вв.), социалистическая революция (начало XX в.), либерально-буржуазная революция (конец XX в.).

Будем иметь в виду, что финал революции – это резкая ломка веками сложившихся традиций, национального уклада, национальных стереотипов поведения, хотя подготовка революции – событие долговременное. «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три», – писал В. В. Розанов в связи с Февральской революцией 1917 года. Ничего подобного. Революции предшествуют десятилетия скрытых целенаправленных действий внешних и внутренних сил на разрушение страны. И далее революция, как планета, долгое время не отпускает от себя всего, что попало в её орбиту.

Все три революции имеют некоторые общие черты.

Первая – это *революции антирусские*, именно русский народ утратил более всего в своей численности, культуре, религиозных традициях в результате этих революций.

Вторая – это революции *антиправославные*, православие – основной враг всех революций. Здесь могут мне указать на сегодняшнее возрождение церковной жизни. Дай Бог, чтобы наше время было исключением.

Третья черта – все революции пытались перестроить *жизнь России на западный лад* в его разных вариантах: Петр взял за образец протестантские страны Европы, большевики (Ленин и Троцкий) – учение Карла Маркса и атеизм; сегодня запущен процесс глобализации и экуменизма.

Своеобразие наших «русских» революций в том, что ещё до Петра, но особенно в результате революции Петра, в России образовался целый слой *интеллигентов-западников*, идеалом для которых были страны так называемого цивилизованного Запада – не идеалы Православия, не национальные традиции. Лучше всего это умонастроение в русском языке характеризуется словом «чужебесие».

Всем трём революциям сопутствовал поток не только западной беллетристики, но и литературы мистической, оккультной, которую переводили, распространяли, идеи которой заимствовали многие представители русской интеллигенции.

«Большому перевороту» всегда сопутствовали идейная, политическая истерия, нарушение нравственных норм, общая развращённость правящих классов.

Русский писатель и публицист XVIII века С. П. Румянцев записал свои наблюдения над жизнью и нравами парижан в канун Великой французской революции:

«Когда я покидал Париж в 1783 году, было легко понять, что готовился большой переворот... Философия превратилась в обоснование вольнодумства и адюльтера. К развращенности чувств прибавили развращенность разума и сердца. Позволялось быть неверной супругой и непостоянным мужем, лишь бы уметь процитировать кстати стихотворную строку Вольтера, остроту Дидро, мысль Руссо; супруги жили раздельно, но жена держала на туалетном столике томик «Эмиля» и с энтузиазмом рассуждала о священных обязанностях матери, в то время как муж, на словах – сторонник экономических наук, растрачивал своё состояние с девкой из Оперного театра... В полусне и полубодрствовании бродили по краю всех заблуждений и всех преступлений, словно лунатики, и по краю крыш и пропасти. Наблюдая эту свободу что угодно говорить и писать, я не очень понимал, на что жалуются философы. Я уехал в тот момент, когда они готовились к реализации своих теорий».

(Вспомним эти слова, когда далее будет приведено высказывание И. А. Бунина, характеризующее жизнь русской интеллигенции накануне наших «русских» революций).

Характерный пример из времен подготовки революции конца XX века: издательство политической литературы в период перестройки мгновенно переключилось с издания советской политической литературы на издание книг мистических и антихристианских.

Если революции преследуют цель ломки ментальности народа, значит, они возможны до определённого предела, до того момента, когда народ начинает ощущать, что стоит на краю гибели. Значит, революциям всегда сопутствует реакция на них.

Военно-политическое сопротивление обычно успешно подавляется: стрелецкий бунт во время Петра, война Емельяна Пугачёва во время Екатерины Второй, белое движение и тамбовское восстание крестьян во время большевиков, бунт молодежи на Манежной площади 11 декабря 2010 года.

Но сопротивление уходит внутрь, в глубь народа, в жизнедеятельность тех, кто стоит за традиции – за свою веру, обычаи, нравы. Носителями этого сопротивления становятся не только широкие слои народа, но и представители власти, которая, окрепнув, начинает выступать как сила, заинтересованная в сильном самостоятельном государстве. В этом случае происходит всё большее слияние

государства и национальной оппозиции. Тем более русской – как государственно образующего народа. Здесь уместно вспомнить русскую пословицу «Терпение и труд всё перетрут». Русская православная оппозиция отвечает на революции не революциями, но молитвой, трудом, терпением.

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро –
А за грехи, за тёмные деянья
Спасителя смиренно умоляют.

Так писал А. С. Пушкин устами монаха Пимена в драме «Борис Годунов».

Вот этот ***внутренний свет трудящегося и молящегося русского народа начинает всё более освещать и преобразовывать общество***, казалось бы, совсем отрекшееся от своего великого прошлого.

«Уж на что Петр Великий перелопатил Святую Русь, – пишет один из ведущих критиков современности и идеолог русского консерватизма Владимир Бондаренко, – почище большевиков изменил образ жизни и образ мысли – в результате лишь укрепилась Российская империя, восторжествовал новый консерватизм, имперского образца».

Революция или традиция, борьба между ними – именно это во многом определяет самое существо жизни российских народов и русского литературного процесса последних трёх веков.

Революционеры могут поразному называться (в самоименованиях и именованиях идеологических противников) – западниками, либералами, мартинистами, декабристами, нигилистами, террористами, революционерами-демократами, масонами, пятой колонной, новаторами, модернистами, космополитами. Традиционалисты тоже – консерваторами, славянофилами, «искусством для искусства», охранителями, черносотенцами, русофилами, архаистами, деревенщиками, «тихой лирикой», или уничижительно в XX веке – мужиковствующими, русопятами.

Но главное, что их разделяло и разделяет сейчас, – ответ на вопрос: с кем вы, с Иисусом Христом или без Иисуса Христа?

***

«В глубоком материке, в суровом климате, задержанная игом, отдаленная от запада, осажденная со всех сторон, – шведами, ливонцами, литвой, поляками, венграми, турками, татарами крымскими, сарайскими (Золотая Орда) и казанскими, – Россия веками задыхалась в борьбе за национальную свободу и за веру и боролась за свои реки и за свободные моря» (Б. Башилов).

Московскую Русь создавали преподобный Сергий Радонежский, монахи-воины Осляба и Пересвет, Дмитрий Донской, Иван III и Иван IV Грозный, Ермак, Иван Сусанин, Минин и Пожарский, духовные писатели Епифаний Премудрый, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, старец псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофей (концепция

«Москва – Третий Рим»), миллионы тружеников и воинов, стойких в следовании Святому Писанию и святоотеческому преданию.

Процесс формирования русского характера, русского мировоззрения завершился в XVI –XVII веках – в княжение и царствование Ивана II Васильевича, Василия III Ивановича, Ивана IV Грозного, Федора Ивановича, Бориса Годунова, Василия Шуйского, Михаила Федоровича Романова, Алексея Михайловича Романова.

Литературным воплощением этого процесса были первая печатная книга, содержащая Деяния и Писания апостольских – «Апостол», обширный хронологический свод «Русский хронограф», Никоновская летопись (самая крупная из русских летописей), законченные под руководством митрополита Макария «Великие Четьи-Минеи» (собрание всех религиозных книг, имевших хождение в Московской Руси, – 27000 листов большого формата), «Степенная книга» (истолкование исторических судеб Руси), многотомный «Лицевой Летописный Свод» (все известные русские летописи – 9000 страниц текста и 16000 рисунков), «Казанская история», «Повесть от жития святых новых чудотворцев муромских Петра и Февронии» (Петр и Феврония канонизированы в 1547 г.), «Домострой» (свод «поучений и наказаний всякому православному христианину»).

К этому времени сложились и основные идеи русской духовной философии:

1. Духовная цельность – неразрывность веры и жизни.

2. Добротолюбие – критерий истинно христианской веры и святости.

3. Нестяжательство – преобладание духовно-нравственных мотивов жизни над материальными.

4. Соборность – любовь к общим духовным ценностям, растворение личности в православном народе, церкви и государстве.

5. Богоизбранность – особая миссия русского народа и борьба с мировым злом» (О. А. Платонов)[1].

И вот эта философия – философия Святой Руси – и стоящее за ней жизнеустройство было во многом поколеблено в результате первой революции – Петра. Но внутренний свет Святой Руси продолжал светить всем, кто отличал добро от зла, милосердие от жестокости, кто любил мир, людей и Бога.

Некоторые следствия революции Петра (будем иметь в виду утраты): 1) закабаление крестьянства и освобождение от крепости дворян (от приказов Петра – до Манифеста о вольности дворянству Екатерины Второй, 1762); 2) упразднение патриаршества, притеснения церкви (весь XVIII век); 3) разрыв культурных связей с Московской Русью, которая ещё недавно осознавала себя Третьим Римом, т.е. единственной в мире хранительницей православия; 4) нерешенность вопроса о престолонаследии, отсюда весь XVIII век – дворцовые пере-

1 *Платонов О. А.* Война с внутренним врагом: История и идеология русского патриотизма. – М.: Алгоритм, 2006. – С. 273.

вороты, заговоры, убийства; 5) ориентация на протестантский Запад, что привело к проникновению во все сферы русской жизни протестантов, иезуитов и масонов.

На всё это Русская Православная Церковь ответила деятельностью митр. Гавриила (Петрова), святителей Паисия Величковского (1722–1794) и Тихона Задонского (1724–1783). Стараниями митр. Гавриила было издано славяно-российское «Добротолюбие» в переводе Паисия Величковского, который также перевел сочинения многих святых отцов. Святитель Тихон Задонский, епископ Воронежский написал «Сокровище духовное, от мира собираемое» (1770), а также – «Об истинном христианстве» (1776).

На рубеже XVIII – XIX вв. всё более усиливается духовное влияние старцев Оптиной пустыни. В это время Россия была благословлена духовным подвигом преподобного Серафима Саровского (1759–1833).

Православную оппозицию чужебесию в конце XVIII века в политике возглавил А. А. Аракчеев, в церковной среде – арх. Фотий (Спасский), в литературе – А. С. Шишков (1754–1841), рядом с которым были Г. Р. Державин, И. А. Крылов и др.

Архимандрит Фотий (в миру Петр Никитич Спасский) (1792–1838) во время Александра I и Николая I резко выступал против масонов, против сектантов, против Библейского общества.

Интересна эволюция многих бывших «карамзинистов» (последователей Н. М. Карамзина, «новаторов»), первое время противников традиционалистов. Зрелый А. С. Пушкин был принят в общество «Беседа любителей русского слова» и с восторгом отзывался о А. С. Шишкове. С. С. Уваров был министром просвещения и одним из авторов идеологии «Православие – Самодержавие – Народность».

Формула «Православие – Самодержавие – Народность» стала идеологической основой для творчества многих выдающихся деятелей русской культуры»: писателей В. А. Жуковского, А. С. Пушкина[2], М. Н. Загоскина, Н. В. Кукольника, Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча, композитора М. И. Глинки, архитектора А. К. Тона и др.

Для литературоведов интересен факт эволюции многих писателей от увлечения либеральными и масонскими идеями к национальным истокам, к своей русской культуре и православию.

Характернейший пример – А. С. Пушкин. Автор «свободолюбивой лирики» и фривольной «Гаврилиады» в 1830-е годы пишет патриотические стихотво-

2 Анализируя трагедию «Борис Годунов» А. С. Пушкина, я пришёл к выводу, что в основе её содержания и структуры – именно идеология «Православие. Самодержавие. Народность». См.: *Карпов И. П.* Духовный центр трагедии «Борис Годунов» // А. С. Пушкин. Борис Годунов: Тексты, комментарии, материалы, моделирование уроков: Научно-методическое пособие для вуза и школы / Под ред. Н. Н. Старыгиной, И. П. Карпова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – С. 172-185. А также главу «Православие. Самодержавие. Народность (А. С. Пушкин. «Борис Годунов»)» в моей монографии «Авторология русской литературы (аспекты, парадигмы)» (Йошкар-Ола, 2010). Этот материал кем-то размещён на сайте «Александр Сергеевич Пушкин» – адрес: http://www.aleksandrpushkin.net.ru/lib/ar/author/5.

рение «Клеветникам России», переложение молитвы Ефрема Сирина «Отцы пустынники и жены непорочны», говорит, что нужно учиться русскому языку у просвирен, в письме к П. А. Вяземскому (16 марта 1830 г.) пишет: «Государь, уезжая, оставил в Москве проект новой организации контрреволюции революции Петра». Обратим внимание на то, что говорится не «реформы» Петра, а именно «революция», не случайно Пушкин и Петра называл «Робеспьером на троне». Государь Николай I хотел провести *контрреволюцию*, но очередная революция во Франции и восстание в Польше помешали это сделать. А. С. Пушкин пишет широко известное письмо П. Я. Чаадаеву, в котором высказывает свою веру и в Бога, и в царя, и в отечество.

«Хотя я лично сердечно привязан к Государю, я далеко не восторгаюсь тем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал".

Другой пример. Князь П. А. Вяземский (тоже в молодости «новатор»), – 1928 год, стихотворение «Русский бог».

Бог метелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,
Станций – тараканьих штабов,
Вот он, вот он русский бог.

И далее с такой же иронией, используя даже сниженную лексику.

Проходит время, поэт взрослеет, лучше понимает жизнь, видит, как Европу сотрясают революции, и в 1848 году пишет стихотворение «Святая Русь». (Цитирую в сокращении):

Когда народным бурям внемлю
И с тайным трепетом гляжу,
Как Божий гнев карает землю,
Предав народы мятежу;

Когда надменные ученья,
Плоды лжемудрости и тьмы,
Питают ядом обольщения
Самолюбивые умы...

Как в эти дни годины гневной
Ты мне мила, Святая Русь!
Молитвой теплой, задушевной
Как за тебя в те дни молюсь!

.....

Мне святы старины могилы
И дней грядущих колыбель,
И наша Церковь – благ и силы,
И душ, и доблестей купель,

И он, царей престол наследный,
От вражьих бурь и от крамол
Любовью, как стеною медной,
Обезопасенный престол .

На это стихотворение В. А. Жуковский откликается письмом, которое тоже известно под названием «Святая Русь».

Переписка 1830 года А. С. Пушкина и П. Я. Чаадаева, стихотворение П. А. Вяземского и письмо В. А. Жуковского являются одними из идейно-эмоциональных центров литературного процесса XIX века, высшим пиком в борьбе русских писателей за сохранение своих национальных святынь.

***

Предреволюционную эпоху начала XX века в русской жизни и словесности как отражение идеологических веяний ярко характеризовал И. А. Бунин в речи, посвященной юбилею газеты «Русские ведомости».

«Теперь в литературу пришел новый «разночинец», духовный разночинец, уже совсем почти традиций лишенный, сбитый с толку годами восьмидесятыми, девяностыми, а кроме того, и тем, что должно было встретиться с ним, – европейским влиянием», «Он попал в струю тех течений, что шли с Запада, – и охмелел от них и внезапно заявил, что и он «декадент», «символист», что и он требует самой коренной ломки всего существующего в искусстве и самых новейших форм его...»; «Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию, называвшуюся разрешением «проблемы пола», и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и садизм, и снобизм, и «приятие мира», и «неприятие мира», и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм – и дошло до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом «футуризм». Это ли не Вальпургиева ночь!».

В мятежные десятилетия рубежа XIX–XX веков всем разрушающим Россию противостоял праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908), говоривший: «Демократия в аду, а на Небе – Царство», предостерегающий от новомодных лжеучителей (толстовцев и им подобных): «Народ православный! Берегись этих учителей, подкапывающих учение веры, законы Церкви и Отечества! Они вдохновляются пришельцами из иных стран и племен, людей нерусских или врагов России, но кто бы они ни были, русские или нерусские, а ты, народ православный, держись крепко веры своей и будь предан всецело Церкви, Царю и Отечеству».

Сотни священников пытались направить народ на путь веры и приняли, как и царская семья, мученический венец сразу после революции.

Физически были уничтожены все, кто даже потенциально мог оказать сопротивление, в том числе и крестьянские писатели и поэты.

Однако уже в конце 1930-х годов, но особенно после войны с фашистской Германией советское и русское начинают проникать друг в друга. Русское принимает в себя идею экономического равенства (отсутствие частной собственности, эксплуатации человека человеком), советское – в тенденции – впитывает в себя русское как национальную основу.

Внутри советских поэтов, попрежнему верных и революции, и гражданской войне, побуждается чувство Родины, России.

Примеров – огромное количество. Приведу только один.

Владимир Александрович Луговской (1901–1957) с воодушевлением принял патриотические тенденции в политике конца 1930-х годов, написал стихи к кинофиль-

му «Александр Невский»: «Вставайте, люди русские!» (1938).

В 1950-е В. А. Луговской – автор пронзительных стихов о родине, о родной природе. Например, стихотворение «Зяблик запел» (1956).

Зяблик запел на березе лиловой,
Вышел из чёрной земли чистотел.
Это не высказать будничным словом –
Снова, как в детстве, зяблик запел.

Значит, дано мне опять насладиться
Дедовской, русской, прохладной весной,
Видеть, как мчатся пролетные птицы
К старым гнездовьям, на север родной...

От таких стихов остаётся уже один шаг до признания мира как Божьего творения, потому что внутри поэта уже есть душевный трепет, то чувство, с которым и можно обращаться к Богу, хваля мир как Его творение.

Особенно сильно это приближение к молитвенному состоянию души было выражено в поэзии Николая Рубцова.

На главную беду коммунистической России: разрушение национального уклада, разрушение русской деревни – писатели ответили самым мощным литературным движением второй половины XX века, которое получило наименования «тихая лирика», «деревенская проза»: Фёдор Абрамов, Евгений Носов, Анатолий Иванов, Петр Проскурин, Василий Шукшин, Василий Белов, Николай Рубцов, Василий Тряпкин, Валентин Распутин и др. В творчестве этих писателей и поэтов большинство – выходцы из крестьян, впервые – за всю историю России, за всю историю русской литературы – так громко и полновесно было сказано: вот мы – русский народ! – во всём нашем своеобразии, во всех наших победах и бедах.

***

Буржуазно-либеральная революция 1990-х годов. Об этой теме говорить сложно, потому что процесс не закончен.

И всё-таки: разрушена могущественная страна – СССР, разворована общенациональная собственность, идут постоянные реформы – в армии, медицине, образовании. Однако в последние годы явно ощутима тенденция к укреплению страны, к поддержке власти патриотических настроений.

В современной русской литературе работают несколько поколений писателей-традиционалистов.

Что очень интересно, на наших глазах зарождается целое направление писателей православной тематики, ведущим автором которого является Владимир Николаевич Крупин («Афон. История и современность Святой Горы», 2008, «Святая Земля. Там, где прошли стопы Его», 2009, «Скоро утро, но еще ночь», 2009, «Босиком по небу. Книга о детях для детей и взрослых», 2009), а также: Николай Владимирович Блохин (последний его сборник рассказов «Татьяна»), матушка Юлия Сысоева, вдова убиенного отца Даниила (автор книг «Записки попадьи: Особенности жизни

русского духовенства», «Бог не проходит мимо»), архимандрит Тихон (Шевкунов), священник Ярослав Шипов, протоиерей Николай Агафонов, светские писатели А. Ю. Сегень (роман «Поп»), А. Н. Варламов, Наталья Сухинина, Виктор Лихачев, Виктор Николаев, Сергей Козлов и др.

Так что борьба революций с традициями, традиций с революциями продолжается. И светит всем нам неугасимый внутренний свет Святой Руси.

СЕРГЕЙ СТАРИКОВ

СВЕТУ! БОЛЬШЕ СВЕТУ!

Александр Ефимович Котомкин (Савинский)
(1885 – 1964)

Удивительна, интересна и неповторима жизнь и судьба этого человека, нашего земляка, знаменитого царевококшайца. Его имя упоминается среди писателей дореволюционной России, в краеведческих изданиях разных лет, документальных публикациях по истории Марийского края и города Йошкар-Олы, газетных статьях, справочниках. Но до сих пор научная биография этого человека не была написана. Очень мало было известно о царевококшайском и казанском периодах его жизни, о военной службе и карьере, участии в Первой мировой войне, Белом движении в годы Гражданской войны. Совершенно нетронутым наследием остаётся его поэтическое творчество, гуслярское мастерство, период жизни в эмиграции.

Собиранием материалов о жизни и творчестве поэта в 70-80-е гг. XX в. занималась краевед г. Йошкар-Олы Л. П. Полубарьева, создатель первого домашнего музея своего родного города. Но известные ей материалы не были опубликованы. Архивных и документальных сведений о нашем знаменитом земляке в архивных и библиотечных фондах Республики Марий Эл практически нет, за редким исключением. Опубликованные книги А. Е. Котомкина давно стали библиографической редкостью, особенно дореволюционные издания, никогда не переиздававшиеся, а зарубежные были запрещены в СССР как сочинения белоэмигранта. Личный архив поэта, по некоторым данным, был вывезен из Германии во Францию, а затем разошёлся по разным местам. Часть его архива оказалась в США. Многое безвозвратно утрачено. Сегодня по крупицам приходится восстанавливать вехи биографии поэта, собирать сведения о его творчестве, выявлять опубликованные им книги, брошюры, статьи, уточнять многие факты.

Первые попытки создания творческой биографии А. Е. Котомкина были предприняты автором данной статьи в книгах, посвящённых Царевококшайску-Йошкар-Оле.

Имя А. Е. Котомкина как участника Гражданской войны с 1990-х гг. стало звучать на страницах российских изданий, посвящённых Белому

Стариков Сергей Валентинович родился в 1956 году в Йошкар-Оле. Доктор исторических наук. Автор 9 книг по истории России и краеведению, русскому православному искусству. Почётный гражданин г. Йошкар-Олы.

движению в Поволжье и Сибири. Частично публиковалась работа А. Е. Котомкина «О чехословацких легионерах в Сибири» (Париж, 1930), включавшая в себя и воспоминания, и документы одновременно. В связи с выходом воспоминаний и исторической литературы о генерале В. О. Каппеле, прах которого в 2007 году был перенесён из Харбина на кладбище Донского монастыря в Москве, широкое распространение в литературе и Интернете получило стихотворение А. Е. Котомкина «На смерть Каппеля». Имя Котомкина упоминается также в связи с изучением творчества поэта Великого князя Константина Константиновича Романова («К. Р.») в контексте его переписки со многими известными людьми той эпохи. Данная статья представляет собой определенный итог изысканий автора и подготовлена на основе только что вышедшей из печати нашей книги «Александр Котомкин (Савинский): жизнь, творчество, судьба» (Йошкар-Ола, 2012).

Александр Ефимович Котомкин родился 18 сентября 1885 г. в деревне Савино, около Царевококшайска, в крестьянской семье. По названию деревни он стал впоследствии подписывать свои произведения и сделал её своим псевдонимом (Савинский). Жизнь Александра складывалась очень сложно: в пять лет умерла его мать, Степанида Александровна, а в двенадцать – отец, Ефим Гордеевич. Воспитанием Саши занимался его дядя, Матвей Гордеевич. В семье Матвея и его супруги Авдотьи было трое детей: Никита, Прасковья (умерла в возрасте 8 лет) и Александра. Племянник стал для Матвея родным сыном. Матвей Котомкин занимался не только крестьянским трудом. Он подрабатывал на отхожих промыслах. Во время навигации по Волге сплавлял лес до Царицына и Астрахани. Часто брал с собой Александра.

Александр Котомкин закончил Княжнинское мужское начальное училище Вараксинской волости Царевококшайского уезда. Он называл училище родным и подарил ему в лице учительницы Мастридии Ефимовны Большаковой в 1916 году сборник своих стихов с дарственной надписью. Благодаря ходатайству Матвея Александр становится учеником 1-го реального училища в Казани, где уже проявились творческие дарования будущего поэта и фольклориста. Александр любил поэзию и сочинял стихи с 15 лет. Из музыкальных инструментов он играл на гуслях. После окончания реального училища он был призван на военную службу и переведен в Алексеевское военное училище в Москве, считавшееся третьим по престижности после Павловского и Александровского.

Талантливого юношу сразу заметили. Судьбе угодно было распорядиться так, что молодого воспитанника военного училища поддержал Его Императорское Высочество Великий князь Константин Константинович, двоюродный дядя Государя Императора Николая II. Это был творчески одарённый человек, «Августейший поэт», подписывавший свои произведения инициалами «К. Р.» (Константин Романов). Всю

жизнь Великий князь посвятил служению отечественной науке, культуре, руководству делом военного образования и воспитания юношества.

Встреча Александра Котомкина с Великим князем произошла в Алексеевском военном училище. Константин Романов обратил внимание на молодого поэта. К моменту окончания военного училища в 1905 году Александр уже имел первый печатный сборник своих стихов, вышедший в Казани годом ранее. К сожалению, нам не известно, при каких условиях произошла эта встреча. Но именно с этого момента Великий князь не переставал интересоваться развитием поэтического дарования А. Котомкина. Александр таким вниманием был окрылен. Позднее, находясь в Юрьеве Лифляндской губернии, А. Е. Котомкин 25 февраля 1911 г. (не исключено, что это была шестая годовщина встречи с К. Р.) написал стихотворение «В пути». Оно автобиографично и в какой-то мере раскрывает суть княжеского благословения.

С одной надеждою на Бога
Я вышел в путь... Трудна дорога
Вокруг раскрылась предо мной...

Но в этот миг твой светлый гений
Явился на моем пути...
«Не падай духом, не грусти! –
Он мне приветливо сказал, –
Туда, где светит идеал –
С Любовью Истина святая;
Всегда вперед, не унывая,
Иди правдивою тропой,
Любя, надейся, верь и пой!..» –
И с этих пор горю стремленьем
Любовь и Правду воспевать;
И сердца трепетным биеньем,
И песнью дружески-простой,
Тебя, наставник дорогой,
Любя, всю жизнь благословлять!..

Эта встреча очень много значила в судьбе А. Котомкина. Она придала молодому поэту уверенность, желание писать и публиковать написанное. После 1905 года подпоручик А. Котомкин по ходатайству Великого князя был переведён служить к себе на родину, в Казанскую губернию, в 236-й Лаишевский резервный батальон 193-го пехотного Свияжского полка, чему был несказанно рад. В 1906–1909 гг. А. Котомкин проходил службу в Казани.

В 1906 году между ними завязалась оживлённая переписка, первое место в которой было отведено поэзии. Константин Романов подвер-

гал строгому и беспристрастному критическому разбору стихотворения, присылаемые ему молодым поэтом. «Собратом по музе» Великий князь называл своего ученика. Он всегда говорил, что простота и образность, облеченные в художественную форму, – это качества, необходимые истинной поэзии. Он был против так называемых «литературных исканий», выразившихся в декаденстве, модернизме, футуризме, которые довели до искажения язык родной поэзии. А. Котомкин на всю жизнь остался верен заветам своего учителя, воспитанного на высоких заветах Пушкина и Лермонтова, Майкова и Фета, Тютчева и Полонского.

А. Котомкин свидетельствовал о том, как Великий князь умел подмечать в юных душах кадетов и юнкеров таланты: «Отличительными свойствами поэтически чудной души и всегда отзывчивого сердца Августейшего поэта было также удивительное умение подмечать в людях и особенно в юных душах кадетов и юнкеров всё то лучшее и доброе, что так возвышает и облагораживает человека».

Так молодого поэта и офицера поддержали, вдохновили на литературный путь. Он постепенно входил в поэтические и литературные круги.

14 ноября 1909 г. популярный в России журнал «Нива» опубликовал стихотворение А. Котомкина «Призыв».

Свету! Больше свету,
Правды и участья!
С духом обновленным
Смело выйдем в путь!..
Под лучами счастья,
Братского привета
Жизнью истомленным
Дайте отдохнуть!..

Свету! Больше свету
И живого слова!
Жаждой просветленья
Сердце расцветет!..
Пусть надеждой новой
Будет жизнь согрета, –
С верой в Провиденье
Мы пойдем вперёд!..

Великий князь Константин Романов направил телеграмму А. Котомкину по поводу первого появления в «Ниве» этого стихотворения. В ответ на телеграмму Великого князя А. Котомкин посвятил своему кумиру восторженное стихотворение «Поэту», написанное во время посещения г. Юрьева в 1909 году.

Поэт! Я радостью нежданной,
Твоим приветом умилён, –
На новый путь благословеньем
В святой надежде окрылён.

Исполнен веры вдохновенной,
Я песню новую дарю –
В ней за восторженное чувство
Тебя, Поэт, благодарю!..

г. Юрьев. 1909 год. 18 ноября

Константин Романов адресует своё письмо в г. Царевококшайск: «Милый Котомкин, поправляюсь после болезни. Весьма любопытно мне было прочитать твое письмо с подробностями о твоём житье-бытье и о твоей деятельности. Напиши, сколько стоили бы тебе лошади, корова и писчая машинка... Константин.

P.S. Предисловие к книге твоих стихов для издательства написал. Надеюсь, в новом году книжечка выйдет».

В 1909–1910 гг. А. Котомкин находился в Петербурге, встречался с Великим князем, был вхож в придворные круги. Молодой поэт посетил Павловск, Царское Село, выезжал в г. Юрьев Лифляндской губернии, работал в библиотеке и архивах Дерптского университета.

1910 год стал важной вехой в творческой судьбе А. Котомкина. В Петербурге вышел сборник его стихотворений 1900-1909 гг. Издателем стала редакция журнала «Нива». Константин Романов внимательно отредактировал сборник, предпослав ему вступительную статью, в которой благословил автора на творчество.

В личной жизни также произошли серьёзные перемены. Молодой офицер сочетался законным браком с Еленой Ивановной Григолейт, фрейлиной при дворе Великого князя Константина Константиновича. Тогда же, надо полагать, Александр Котомкин познакомился и с сыном Великого князя – Его Высочеством Князем Олегом Константиновичем – «светлым юношей», молодым писателем и поэтом, геройски погибшим в начале войны с Германией 29 сентября 1914 г. Ему едва исполнилось 22 года.

Один день в неделю Константин Романов отводил для писем. Он считал наипервейшим делом не только морально, но и материально поддерживать талантливых людей. В одном из писем Великий князь писал: «Милый Котомкин, наконец нахожу время взяться за перо и при его помощи побеседовать с тобою. Последнее твоё письмо застало меня в Ташкенте. Описание невзгод от неурожая в твоём участке побуждает меня послать тебе 100 рублей на пострадавших от этого бедствия, быть может, эта малая лепта окажет кое-какую помощь нуждающимся. Не нужно ли тебе самому пособия? Напиши».

В 1911–1913 гг. А. Е. Котомкин, оставив военную службу по состоянию здоровья, находился в Самарской губернии, служил земским начальником в Николаевском уезде, где находились немецкие колонии на Волге. Письмо Великого князя было адресовано в село Цюрих. «Проездом через Самару говорил я о тебе вице-губернатору... – продолжал Константин Романов. – В случае чего можешь к нему обратиться, сославшись на мой ответ. Думаю, что он поддержит тебя в добрых и полезных твоих начинаниях». Должностные обязанности А. Котомкина требовали частых поездок по селениям Николаевского уезда. Он рассматривал приговоры и постановления крестьянских сходов, следил за тем, чтобы они не противоречили законам Российской Империи. По воспоминаниям дочери поэта Ирины Александровны Котомкиной, особенно много хлопот отцу доставляли зелёные насаждения в селениях. Он требовал заниматься посадками молодых деревьев. Зелёные аллеи были призваны оградить людей от облаков дорожной пыли и золы, которые поднимали суховеи и разносили по селениям, вызывая болезнь лёгких. Даже немцев-колонистов пришлось убеждать в этом. Молодой земский начальник собирал старшин, действовал жёстко, ссылаясь на букву закона. В его кибитке всегда были тома Полного собрания законов Российской Империи. Иногда Котомкина обманывали: закапывали в грунт берёзовые ветки и отчитывались о высадке деревьев. Приходилось принимать крутые меры. Земская служба, поездки по селениям, на пароходах по Волге дали массу впечатлений молодому поэту и нашли отражение в его творчестве.

Тема Родины стала занимать главное место в творчестве А. Котомкина. Находясь по долгу службы в разных местах Российской Империи, поэт восхищался её красотами. Его пленили волжские дали, знаменитые Жигули. На пароходе «Ярославна» 12 июня 1912 г. он написал стихотворение «На Волге».

Тишина. Лишь волны шаловливо
Меж собой о чем-то говорят.
Дремлет ночь, – и Волга молчаливо
Убралась в таинственный наряд.

Берега во мраке потонули, –
Кое-где мерцают огоньки.
С неба звезды ласково взглянули,
И запели песню рыбаки.

Раскатилась песня, разлилася,
По волнам ударила волной, –
И в душе моей отозвалася
И тоской, и волею родной.

Счастлив я, когда в напеве этом
Отыщу отраду я свою,
Пред тобой – наставником Поэтом
И печаль, и радость изолью.

В творчестве поэта звучала и любовь к своей малой родине – царево-кокшайской стороне, родной деревне.

Люблю я деревни родимые нивы
И с детства знакомый мне быт мужика...
И милой Кокшаги живые извивы,
Под говор веселый и шум тростника.

Люблю я послушать вечерней порою
В сиянье волшебной прекрасной зари,
Как звонкие песни, веселой гурьбою
С лугов возвращаясь, поют косари...

Люблю я и шепот могучего бора,
И ширь необъятных, раздольных полей...
Родимые дали, где много простора,
Где выросли крылья у песни моей...»

Любовь к Родине, к России, неизбежно формировала в молодом поэте державные чувства. Поэт-патриот в 1912 году написал кантату, посвящённую приближающемуся в 1913 году 300-летию царствования Дома Романовых.

В мае 1914 года, накануне Первой мировой войны, А. Котомкин вновь посетил Петербург и Павловск.

С началом войны 1914 года в его творчестве ещё более усиливаются патриотические начала. Он работает в историческом жанре, завершает свою поэму «Князь Вячко и меченосцы». Великий князь Константин Романов познакомился с исторической поэмой А. Котомкина и отметил новые успехи в творчестве поэта. В одном из писем он советовал ему чаще вдохновляться историческими темами. В январе 1915 года при личной встрече с Котомкиным Великий князь выразил пожелание видеть эту поэму напечатанной, высказал удовлетворение по поводу того, что композитор М. М. Ипполитов-Иванов задумал написать оперу на её основе.

Замысел поэмы появился у А. Котомкина еще в конце 1900-х гг., а вступление Германии в войну с Россией летом 1914 года усилило желание завершить работу над ней, ибо история и современность для поэта составляли единое целое, а тема героической защиты Родины станови-

лась не менее грозным оружием против агрессора. В предисловии к поэме, написанном в деревне Савино Царевококшайского уезда 18 марта 1916 г., А. Котомкин рассказал о своем замысле. Он обратился к героическим страницам русской истории XIII века, когда немецкие рыцари начали завоевание восточно-славянских и прибалтийских земель. Историческая поэма А. Котомкина «Князь Вячко и меченосцы» была посвящена героической борьбе русского города Юрьева (Дерпт-Тарту) против немецких завоевателей. Она повествует о защите русским князем Вячеславом Борисовичем вместе с эстами Юрьева, осаждённого полчищами немцев-меченосцев в 1224 году.

Поэма явилась результатом длительного труда над источниками: русскими летописями, немецкими хрониками, древней эстонской литературой и фольклором. Материал собирать поэту помогали многие сослуживцы, а супруга Е. И. Котомкина потрудилась над переводом хроники немецкого летописца Генриха Латышского. Поэт лично побывал в тех местах, которые он описывает, в развалинах монастыря-замка близ Юрьева. «Здесь впервые, – писал А. Котомкин, – я задумал свою поэму и часто любил бывать у седых развалин замка, этих безмолвных свидетелей когда-то грозного немецкого могущества». Генерал-майор Н. де Боде, командир 95-го пехотного Красноярского полка, в котором служил А. Котомкин, создал благоприятные условия поэту, чтобы довести поэму до конца, позволил посещать места описываемых событий. «Приходится часто слышать, – отмечал поэт, – что немцы к теперешней войне готовились 40 лет... Внимательное же изучение истории и в особенности истории завоевания Прибалтийского края немцами говорит, что они готовились не 40 лет, а целых семь столетий. И вот теперь враги грозят нам игом страшнейшим ига Батыя и Тимура, ибо в случае их победы, они не только превратили бы в дым и прах бесчисленные сёла и города нашей родины, но и закрыли бы путь к экономическому и политическому развитию, сведя на нет все завоевания славного прошлого нашей родины. Вот почему вопрос победы над врагами для нас вопрос и чести, и жизни, и торжества тех духовных начал, которые дороже самой жизни».

Поэма интересна во всех отношениях. Здесь читатель найдет удивительные по тонкости изображения и стихосложения песни героев. Особенно замечательна «Сказка шута» из первой главы. Мастерски сложенные поэтические строки достойны того, чтобы быть представленными в антологии русской классической поэзии.

Шел на Русь с лихой грозою
С вражьей силой боевою
Враг суровый, царь немецкий...
И сказал святой Руси:

«Мне дары скорей неси
Иль на подвиг молодецкий
Выходи... Я не мечами,
Разгоню тебя бичами,
Закую свободу в цепи,
Русских витязей потешу:
На семи дубах повешу,
А твои леса и степи,
Храмы Божьи и селенья
Со святыми городами –
Все предам во власть забвенья...»

***

Шевельнула Русь плечами,
Словно мощными горами,
Зашумела вдруг лесами,
Грозно глянула очами...
Смело держит к немцам речь:
«Гей, вы, вороги лихие!
Мне за правду не впервые
Мерить силу. На просторе
Я люблю размыкать горе.
И за волюшку свою
Я бесстрашно постою!»

***

Вот сошлись... Звенят шеломы,
Тучи стрел – что Божьи громы,
Копья – лес непроходимый.
От зари и до зари
Бьется Русь за край родимый,
Держат стяг победный твердо
И стоят богатыри.
Им дивится ворог гордый.
Раз ударит – русских вдвое,
Два ударит – русских втрое,
Сила витязей растет,
На врага грозой идет...
Долго немцы с Русью бились,
Силы вражьи надломились,
И, шатры свои оставив,
Весь народ свой обесславив,
Убежал немецкий царь.

Его Императорское Высочество Великий князь Константин Константинович Романов. Фотография А. Пазетти. С.-Петербург, 1900 г.

Александр Котомкин. Фотография. Начало XX в.

Александр Ефимович Котомкин — гусляр-складатель. Гамбург, Германия. Фотография 1950 — нач. 1960-х гг.

Александр Котомкин с супругой Еленой Ивановной, урожденной Григолейт. Фотография 1909–1910 гг.

Дом Т. В. Чулкова, в котором в 1915–1917 гг. жил А. Е. Котомкин. Йошкар-Ола, улица Вознесенская. Фотография 2010 г.

Нина Петровна Котомкина (урожденная Шкляева), вторая супруга А. Е. Котомкина, с дочерью Ириной — участницы Французского движения Сопротивления. Франция. Предгорья Альп. Фотография 1944–1945 гг.

В третьей части показаны сцены осады Юрьева. Город-крепость пал, похоронив под тяжестью своих развалин славных своих защитников во главе с князем Вячко.

Завоевание немцами Юрьева, героическая гибель князя Вячеслава должны были сплотить ратников 1914 года в защиту Святой Руси.

Так Юрьев пал... И в дым и прах,
Своим противникам на страх,
Враги весь город обратили...
Но вечной славою покрыли
Себя защитники-герои...
И между ними Вячко-князь,
Хранивший доблести устои,
Перед врагами не смирясь,
За Русь стоявший одиноко,
За счастье родины своей,
Не изменив ни разу ей,
Душой болел, любя глубоко.
Последний принял он конец
И славы сплел себе венец.

Великий князь Константин Романов не успел увидеть поэму напечатанной. 2 июня 1915 г. он скончался от болезни сердца. Трагическая весть больно отозвалась в сердце поэта. Летом 1915 года в Киеве А. Котомкин издал сборник стихотворений, специально подготовленный им по случаю тяжелейшей утраты – «Песни, посвящённые Августейшему поэту К. Р. Его Императорскому Высочеству Великому князю Константину Константиновичу. 2 июня 1915 года» (Киев, 1915). В нём были собраны воедино все стихи-откровения Поэту-учителю, Поэту-вдохновителю.

Именно этот сборник песен, посвящённых памяти Константина Романова, А. Котомкин с дарственной надписью преподнёс 21 апреля 1916 г. своему родному Княжнинскому училищу.

Поэма «Князь Вячко и меченосцы» была опубликована в Петрограде в 1916 году, напечатана отдельной книгой в типографии журнала «Нива». Это издание также посвящалось памяти Августейшего поэта Константина Романова. 20 процентов прибыли от этого издания поступало в пользу «Комитета Мраморного дворца» в Петрограде на нужды жертв второй Отечественной войны 1914–1917 гг. В годы войны А. Котомкин закончил ещё одну пьесу-драму «Ян Гус». Но её издание состоялось уже после революции 1917 года.

Не только поэтическим даром А. Котомкин защищал Россию от агрессора. Он был активным участником сражений, с первого дня войны находясь в действующей армии. Полученные ранее два ранения по-

зволяли ему находиться в войсках. Третье ранение оказалось особенно тяжёлым. А. Котомкин был вынужден оставить действующую армию.

Вернувшись в Царевококшайск осенью 1915 года, А. Котомкин поступил на земскую службу, став земским начальником второго участка Царевококшайского уезда. По архивным документам, уже в ноябре 1915 года он исполнял свои обязанности, присутствовал на заседаниях уездной земской управы. Круг его обязанностей был весьма широк. Он занимался вопросами обеспечения населения продовольствием, борьбой с дороговизной. А. Е. Котомкин участвовал в работе Царевококшайского уездного комитета Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам (апрель 1916 г.), являлся почётным блюстителем министерских и русско-татарских школ Царевококшайского уезда, Кузнецовского и Суртовского двухклассных училищ (весна 1916 г.), Княжнинского женского и Савинского начальных училищ, был членом Царевококшайской уездной комиссии по борьбе со спекуляцией, созданной в марте 1916 года, стал членом Царевококшайского уездного училищного совета (с янв. 1916 г.). Он неоднократно председательствовал на испытательных (экзаменационных) комиссиях, постоянно выступал в поддержку учителей, за улучшение их социального положения, повышение жалованья. Он ходатайствовал о выделении средств на физическое воспитание учащихся, на увеличение ассигнований на преподавание таких предметов, как пение и рукоделие. В ноябре 1916 года на заседании Царевококшайского уездного училищного совета он ратовал за то, чтобы все учителя, работавшие в инородческих училищах, владели марийским языком, а в Царевококшайской женской гимназии был введён курс преподавания марийского языка. Котомкин выступал за открытие при женской гимназии двухгодичных педагогических курсов, предлагал уездной земской управе выработать проект постройки типовых школ с квартирами для учителей.

17 марта 1917 г. общим собранием представителей от сельских сходов Вараксинской волости, беженцев, служащих и духовенства А. Е. Котомкин был избран председателем Вараксинского волостного продовольственного комитета. Он также участвовал в общих собраниях уездного комитета общественной безопасности. В мае 1917 года по предложению А. Е. Котомкина был образован особый фонд помощи армии и пленным и создана соответствующая комиссия. Но в комитет общественной безопасности Царевококшайского уезда Котомкина не пустили. Уездный комиссар Временного правительства Владимир Петрович Барановский и его сторонники во властных структурах начали кампанию по вытеснению Котомкина как бывшего земского начальника, как лица старого режима, делали всё, чтобы не допустить его на любые общественные должности в Царевококшайском уезде. Котомкин и бывший член землеустроительной комиссии Шелавин пытались бороться с Барановским. В июне

1917 года они вели агитацию среди крестьян Себе-Усадской волости против кадета Барановского. Но его позиции были прочны.

Котомкин на своей малой Родине остался не у дел. Он вынужден был покинуть Царевококшайск, выехал в Казань во второй половине 1917 года, поступил на историко-филологический факультет Императорского Казанского университета.

В Казани уже после Октябрьского большевистского переворота он стал одним из организаторов казанского губернского союза увечных воинов, главным редактором печатного издания этой организации – журнала «К свету», первый номер которого вышел в июле 1918 года. Событием в творческой жизни А. Е. Котомкина казанского периода 1917–1918 гг. был выход в свет его исторической драмы в стихах «Ян Гус». Большую помощь автору оказал профессор-славист Казанского университета Нестор Мемнонович Петровский, написавший к книге небольшое предисловие, где подчеркнул, что русский драматург впервые избрал великого проповедника Правды Божией Яна Гуса сюжетом для своей, вполне оригинальной пьесы.

7 августа 1918 г. Казань была освобождена от большевиков отрядами чехословаков и войсками Народной армии под командованием полковника Владимира Оскаровича Каппеля. А. Е. Котомкин восторженно встретил освободителей, описав этот казанский период в своей книге «О чехословацких легионерах в Сибири» (Париж, 1930). Однако освобождение пришло ненадолго. Среди белого командования возникли острые разногласия. Большевики на восточном фронте готовились к наступлению. Бои под Свияжском и Зелёным Долом увеличили количество раненых. В Казани создавались отряды охраны внутреннего порядка. Как инвалид войны, А. Е. Котомкин получил назначение – стал начальником одного из сторожевых постов внутренней охраны. Чтобы собрать деньги для ухода за ранеными, для покупки лекарств, в Казани был устроен благотворительный «День Народной армии». В Казанском городском театре А. Е. Котомкин организовал культурный вечер-концерт, где участвовали артисты казанских театров, исполнены чешский и сербский гимны, славянская музыка. Театр был переполнен, некоторые сдавали обручальные кольца и серьги.

Но Казань пала в ночь с 10 на 11 сентября 1918 г. Многие покидали Казань. В их числе был А. Е. Котомкин. Под напором красных чехословацкие части отступали. Как писал Котомкин, у чехословаков проходил пыл борьбы с большевиками. Это было начало развала Чехословацкого корпуса в России. В Челябинске Котомкин присутствовал на похоронах начальника Чехословацкой дивизии полковника Швеца, который застрелился после отказа своих войск выполнить боевые приказы против Красной армии.

Покинув Казань в сентябре 1918 года, Котомкин выехал вместе с труппой казанского театра. Они оказались в Сибири, где в ноябре 1918

года власть перешла в руки адмирала, «Верховного правителя» Александра Васильевича Колчака. В боях на восточном фронте А. Е. Котомкин не участвовал. Вообще он сразу заявил, что не будет стрелять по своим – русским. Но фактически он и театральная труппа оказались в огне Гражданской войны. Котомкин возглавил передвижной театр, находившийся в специальном поезде, который курсировал по Транссибу, в городах давались концерты, ставились спектакли. Представления были и на железнодорожных станциях. Среди спектаклей была поставлена историческая драма «Ян Гус».

А. Е. Котомкин стал участником знаменитого Великого Сибирского Ледяного похода, который совершил со своими войсками, выполняя приказ А. В. Колчака, генерал Владимир Оскарович Каппель. В декабре 1919 года он спас армию от окружения под Красноярском и совершил вдоль Транссиба героический и трагический беспримерный ледяной поход в 3 тыс. км от Омска до Забайкалья, испытывая огромные трудности и лишения в условиях 50-градусных морозов. Генерал Каппель провалился в полынью, обморозил ступни ног, которые были ампутированы, но продолжал командовать войсками. Провал в полынью вызвал двустороннее воспаление лёгких. Умирающий генерал руководил совещанием в Нижнеудинске, где было решено с ходу взять Иркутск, освободить Колчака, которого чехи выдали Иркутскому политцентру, и стабилизировать фронт. В последние часы жизни Каппель продиктовал обращение к сибирским крестьянам: «За нами с Запада двигаются советские войска, которые несут с собой коммунизм, комитеты бедноты и гонения на веру в Иисуса Христа. Где утверждается советская власть, там не будет трудовой крестьянской собственности, там в каждой деревне небольшая кучка бездельников, образовав комитеты бедноты, получит право отнимать у каждого всё, что им захочется. Большевики отвергают Бога, и, заменив Божью любовь ненавистью, вы будете беспощадно истреблять друг друга».

26 января 1920 г. Каппель умер. Тело его привезли в Читу, где на погребении в Александро-Невском соборе присутствовал А. Е. Котомкин. Об этом событии он подробно писал в своей книге «О чехословацких легионерах в Сибири» (Париж, 1930). Это было 22 февраля 1920 г. С генералом-героем проститься пришёл весь город. Когда гроб опускали в могилу, А. Е. Котомкин призвал всех к молчанию. И в наступившей тишине с большим чувством прочёл:

Тише!.. С молитвой склоняем колени...
Пред вами героя родимого прах...
С безмолвной улыбкой на мёртвых устах
Он полон нездешних, святых сновидений...

«За Родину! В бой!» – ты кликнешь призывом,
Орлов-добровольцев к себе созовёшь...
Но верю – своим беспримерным порывом,
Как пламенем, русское сердце зажжёшь...
И Каппеля имя, и подвиг без меры
Средь русских героев вовек не умрёт...
Склони же колени пред символом веры
И встань за Россию, Родимый Народ!..

16 марта 1920 г. А. Е. Котомкин был назначен официальным уполномоченным атамана Г. М. Семёнова для сношения с чехословацким командованием. Весной 1920 года на него была возложена сложная миссия – выехать в Крым к генералу П. Н. Врангелю и официально известить его о том, что Семёнов признает его главой всех русских антибольшевистских сил и подчиняется ему. Выехать в Европу можно было только через Владивосток морским путем. Котомкин прибыл во Владивосток. Выступая в местном театре, он познакомился с Ниной Петровной Шкляевой, которая и стала его второй женой. Она была на 11 лет младше Александра. Нина Петровна закончила Никольск-Уссурийскую учительскую семинарию, была учительницей русского языка и литературы, образованным человеком, творчески одаренной натурой.

Чета Котомкиных на пароходе выехала в Японию и находилась там три месяца в ожидании парохода в Европу.

Путь Котомкиных в Европу и Россию лежал через Азию, Индию, Суэцкий канал. 2 ноября 1920 г. они прибыли в Феодосию, где Котомкин вручил Врангелю послание от Семёнова. Но Красная армия уже наступала и дни Белой армии были сочтены. Котомкины в ноябре 1920 года эвакуировались из Крыма, выехали сначала в Болгарию, а затем прибыли в Чехословакию в январе 1921 года. Так Александр Котомкин стал эмигрантом первой волны. Котомкины поселились в местечке Горные Мокропсы, где проживало много русских эмигрантов. Чехословакия стала одним из крупных центров русской эмиграции. В рамках политики «русская акция» президент Чехословакии Масарик предлагал русским приезжать в Чехословакию, получать образование в этой стране. Отношение к русским было очень доброжелательное. В Праге Нина Петровна окончила педагогический институт им. Я. А. Коменского. Находясь в Чехословакии, Котомкины часто посещали Закарпатскую Русь, где в городке Мукачево 5 октября 1924 г. родилась их дочь Ирина.

Ещё 6 июля 1922 г. в Чехословацком национальном театре была сыграна историческая драма А. Котомкина «Ян Гус» в исполнении актёров русского камерного театра. Постановки «Яна Гуса» шли по всей Чехословакии. В Праге и Чехословакии Котомкин стал очень известным, его встречали с почестями, как говорится, «носили на руках». А. Котомкину было присвоено звание почётного гражданина Праги.

Пребывание в Чехословакии А. Е. Котомкин считал лучшим временем своей эмигрантской жизни. Он активно работал на поэтическом поприще, много стихов посвящал своей Родине. Оказавшись на чужбине, он никогда не переставал считать себя русским человеком, у которого есть только одна Родина – Россия. Когда ему говорили за рубежом, что новая русская власть лишила его Родины, он всегда с возмущением говорил: как можно лишить человека Родины?! Этого никто не может сделать. Его можно выселить, изгнать с места, но Родина есть Родина, она живет в сердце твоем. Пока мы с ней в разлуке.

В 1926 году Котомкины покинули Прагу и выехали в Париж. Переезд был вызван рядом обстоятельств, тем, что во Франции было много эмигрантов из России, а главное, там жил друг Котомкина, писатель Александр Иванович Куприн. Не последнюю роль сыграла и политика чехословацких властей, признавших СССР. Но жизнь в Париже оказалась очень сложной. Семья жила крайне бедно. За первые 5 лет Котомкины поменяли 26 мест жительства. Нина Петровна, не найдя работу по специальности, была вынуждена пойти на самую трудную работу – стала подёнщицей, т. е. чернорабочей у состоятельных французов.

Именно в Париже поэт начал выступать в качестве певца-гусляра. Игра на гуслях была не просто желанием исполнять. Как свидетельствовал сам Александр Ефимович, способности играть на гуслях и перелагать на гусельную игру свои стихи-песни шли из далекого детства, из Савина и царевококшайской стороны. Музыкальные способности и поэтический талант рождали у Александра редкое гуслярно-песенное мастерство. Он выступал и в Чехословакии, но именно в Париже, можно сказать, это увлечение превратилось в профессиональное мастерство. Он играл, пел и пританцовывал. В стихотворении «Призвание» он поведал о предназначении песенно-гуслярного искусства.

Не с мечом – с гуслярным звоном
Вышел я за Правду в бой...
Вторит Русь мне песнью-стоном
Иль погудкой удалой.

Для чего мне щит и латы,
Меч тяжелый кладенец –
Были б гусельки звончаты,
Будет счастлив и певец.

Я с врагами ль повстречаюсь
В честном жизненном бою,
Им о правде, не смущаясь,
Песню звонкую спою.

Взговорят мои звончаты
Струны гуслей золотых,
Побросав мечи и латы,
Прочь бегут враги от них.

Им вослед, расправив крылья,
Песня вольная звучит,
О позоре Зла, Насилья
Вольным соколом кричит.

В стане вражеском смятенье –
Чуют светлый луч Добра,
Знать, не по сердцу им пенье
Удалого гусляра!

В 1927 году у Котомкина в Париже вышел сборник стихов «За Россию», а в 1930 году – книга «О чехословацких легионерах в Сибири». Котомкин продолжал выступать, совершал поездки по городам Европы. Всюду его встречали восторженно. Концертная деятельность вдохновляла поэта, давала ему отдушину в чужих краях, некоторый заработок. Но главное – связывала его и русских эмигрантов с Отчизной. Он пел в Институте фонетики в Сорбонне, где отдельные его песни были записаны на пленку. В Германии (г. Йена) известный мастер музыкальных инструментов, бывший поставщик двора Его Императорского Величества изготовил Котомкину по его собственным чертежам гусли из специального дерева нужного размера. В эмиграции Александр Ефимович встречался, дружил со многими русскими знаменитостями, которые оказались в изгнании, посвящая им свои стихи. Среди них писатели Е. Н. Чириков, И. С. Шмелёв, Г. Д. Гребенщиков, русский атлет И. М. Заикин, исполнительница народных песен Н. В. Плевицкая и другие. Котомкин был участником Русского зарубежного съезда в Париже в апреле 1926 года. Он стал одним из организаторов Парижского союза увечных русских воинов, живо интересовался литературой и поэзией Русского зарубежья, писал отзывы, давал рецензии. Его поэтическое творчество после 1917 года приобрело большую политическую окраску. В своих стихах он откликался на события в России и мире в целом. Но преобладающее значение получила историко-патриотическая тема.

В 1938 году импресарио Котомкина в Париже сделал ему предложение организовать новое турне по Европе. Нина Петровна отговаривала мужа. Обстановка в Европе после прихода нацистов к власти в Германии была очень сложной. Но он был рад как ребёнок в ожидании новой поездки. Котомкин уехал, но обратно не вернулся, потерял связь с семьёй. Пропал, был задержан немцами, интернирован в лагерь для перемещённых

лиц в Дании. Здесь он находился несколько лет. И здесь в конце Второй мировой войны его обнаружила фрейлина двора Императрицы Марии Фёдоровны Гертруда Александровна (Гертруд фон Поэль), помогавшая русским. Когда она пришла в лагерь и спросила коменданта о наличии русских, ей указали на старика, лежащего на нарах. Это и был А. Е. Котомкин. Потом она перевезла его в свое имение в Германию, под Гамбург.

Супруга Нина Петровна и дочь Ирина Александровна после оккупации Франции германскими войсками вступили во французское движение Сопротивления. Только после войны их связь с А. Е. Котомкиным была установлена, но встреча так и не состоялась. Одной из причин этого стали серьезные разногласия по вопросу о возвращении в СССР. Нина Петровна стремилась во что бы то ни стало вернуться на Родину. Она неустанно хлопотала об этом. В 1946 году ей и дочери Ирине выдали советские паспорта во Франции. Но ещё восемь лет они ждали визы. И только в 1954 году они выехали в СССР. А. Е. Котомкин категорически отказывался вернуться в Советский Союз. Он знал, что путь домой ему был закрыт. Советские власти объявили его вне закона, лишили его Родины. Его книги были запрещены в СССР, а имя квалифицировалось как «враг народа», «антисоветский элемент». Называя «советскую власть в России сатанинской», А. Е. Котомкин не хотел с ней иметь никаких дел. Но в душе Александр Ефимович переживал глубочайшую драму. Ему перевалило уже за 60 лет, а Родина-Россия не только не приближалась, а все более удалялась от него. Он всем сердцем любил и воспевал свою Родину, искренне верил в её воскресение, грезил ею, как последним маяком надежды. «Были бы у меня крылышки, полетел бы я на свою сторонушку», – говаривал Александр Ефимович. Но обстоятельства оказались выше искренних чувств и желаний. Нина Петровна и Ирина Александровна, прибыв в Москву, писали ему письма, звали в СССР, но безуспешно. Так А. Е. Котомкин остался в изгнании и остался один.

А. Е. Котомкин жил в Германии. Он продолжал играть на гуслях, но уже стал уличным гусляром. Так зарабатывал себе на жизнь. Он был активным прихожанином русской православной общины в г. Фленсбург (Германия), находившейся в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей. В 1960 году в Гамбурге отмечалось его 75-летие. В 1962 году в Западной Германии вышла книга А. Е. Котомкина «Из старой Святой Руси». На одном из сохранившихся экземпляров есть замечательная дарственная надпись в старой русской орфографии: «Благослови вас всех Господь Бог наш Иисус Христос, моих дорогих юных гостей накануне Русского Православного Нового года, навестивших меня, старого Русского поэта и гусляра-складателя! С христианской любовью эту книгу дарю. Автор Александр Ефимович Котомкин. 31. XII. 1962 ст. ст. Гамбург».

23 ноября 1964 г. А. Е. Котомкин скончался от воспаления легких в возрасте 79 лет и был похоронен на кладбище близ Гамбурга.

Красной нитью через всё его творчество проходила безграничная любовь поэта к России, к святой православной Руси, надежда на скорое её возрождение. Своей милой Родине он посвятил одно из лучших своих стихотворений «Родине»:

Русь! Я верю в Тебя, верю русской душой,
Что ничьей Ты не будешь рабыней!
Что напрасно вокруг святотатцы толпой
Над Твоею ругались святыней...

На заветы Твои, на основы Твои,
Чем века жил Народ Православный,
Наложили бесстыдные руки свои,
Чтоб погибла Ты смертью бесславной...

Молви ж слово своё, чтобы знали враги,
Что крепка в Тебе сила живая!
И заветы свои до конца сбереги,
Сохрани себя Русью, Родная!

Жизнь и творчество нашего замечательного земляка Александра Ефимовича Котомкина – это яркий пример истинного служения своему Отечеству. Это образец державно-патриотического, христианского смысла жизни русского человека. Его имя должно быть полностью восстановлено в русской литературе и поэзии. На родине, в городе Йошкар-Оле, в честь поэта необходимо назвать одну из улиц, а на доме по Вознесенской улице, где А. Е. Котомкин (Савинский) жил в 1915–1917 гг., следует установить мемориальную доску. И пусть его благоверный пример жизни да пребывает со всеми нами! И как всегда говорил Александр Ефимович: «С Богом!».

ЛЮДМИЛА КУВШИНСКАЯ

РЕСУРС ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Альбомы художника Бориса Яковлева (1902–1984)

Особой, магической притягательностью наполнены страницы альбомных рисунков 1920–30-х годов из музейных коллекций Марий Эл. Со временем они стали музейными реликвиями: и альбомы уникальных рисунков, и живопись художников первой половины минувшего века. Раскрывая страницы истории, они наполнили её личностным прикосновением к реальности ускользающего времени.

Художники 1920–30-х годов работали по заданию и в тесном контакте с сотрудниками краеведческого музея. Он был заказчиком, заинтересованным в сохранении визуального образа города для будущих поколений. Достоверность, точная фиксация – одна из характеристик городских пейзажных рисунков тех лет. Художники подробно документировали социальные приметы и контрасты тихого уездного города. В многочисленных альбомных рисунках подробное фиксирование натуры столь внимательно, что образы старых домов, с исключительной тщательностью и достоверностью прорисованные, схожи с морщинистыми лицами стариков в необратимом и неизбежном процессе умирания и как бы очеловечены. Вместе с тем в них сохранилось состояние и настроение пейзажного образа, что в искусстве остаётся едва ли не главным.

Свой образ родного города сохранил в альбомных рисунках и станковой живописи Борис Алексеевич Яковлев, вернувшийся в Йошкар-Олу в 1928–29 годах по окончании Специальной мастерской станкового отделения живописного факультета Московского института. Это был знаменитый ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Молодой художник не сменил родной город на столичные возможности и вернулся не один, а с московской красавицей-женой. Так же восторженно, как в лицо любимой, он вновь и вновь всматривался в меняющийся портрет родного города. Он по натуре не был богемным художником. Не был членом партии. Годами он строил на Ремзаводе свой дом-мастерскую, утопающую в сирени и яблонях, чем в свое время вызывал раздражение у художников-пар-

Кувшинская Людмила Анатольевна родилась в 1945 году в г. Яранске. Искусствовед. Автор работ о марийском изобразительном искусстве. Заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Йошкар-Оле.

тийцев. Именно здесь, в родном городе, написаны все его картины и портреты, сохранившие образ Времени.

Романтизированный, чувственный, по-юношески порывистый облик Йошкар-Олы отображён в пейзажных и жанровых композициях рубежа 20–30-х годов. Живописный эффект декоративного сочетания игры цвета, словно внезапно вспыхивая в синих, зелёных, белых вибрациях, сохранился в сюжетной картине Б. А. Яковлева «Спортивный праздник на стадионе «Динамо». Стадион был построен на месте уникального по красоте, любимого горожанами еще в XIX веке «Маркеловского сада». Праздничной радостью жизни пронизана атмосфера холста «Мост через Кокшагу».

Эта особенность художнического мировосприятия раннего Яковлева восхитительна даже в тех работах, названия которых будто бы не соответствуют конкретно городской теме.

В его портретной живописи сохранились образы йошкаролинцев. Он писал натурные портреты своих родных. Одно из недавних приобретений Национального музея – портрет, подаренный племянницей художника, сохранил образ йошкар-олинской девочки 30-х годов. Другой портрет, также написанный с натуры, воспроизводит образ первой марийской женщины – профессионального художника Елизаветы Дмитриевны Атлашкиной – с густой шевелюрой седых курчавых волос и светлым взглядом.

Он иллюстрировал национальный журнал «У вий», сотрудничал с Марийским книжным издательством. В 1950-е годы именно Борис Алексеевич Яковлев оформлял праздничное убранство Йошкар-Олы. Один из вариантов оформления измерялся длиной в 50 метров! Б. А. Яковлев преподавал в школах Йошкар-Олы рисование и черчение, что приносило гарантированную зарплату. Он гордился учениками, ставшими профессиональными архитекторами. Участвовал в выставках. Иногда его картины покупали. В основном произведения Бориса Алексеевича Яковлева — портреты, пейзажи, жанровые картины — к счастью, были своевременно приобретены краеведческим музеем.

Вместе с музейщиками художник исполнял в изобразительном формате творческую миссию сохранения образа родного города, его приметы и своеобразие, стремительно исчезающее в ритме новостроек. Т.о., рисунки первых профессиональных художников П. Т. Горбунцова и Б. А. Яковлева сохранили для потомков образ старого города с его домами-старожилами, уступившими место новостройкам.

Знаковым в культурной жизни города стал 1926 год. По нескольким параметрам: в Краснококшайске создан филиал АХРР – Ассоциации художников Революционной России. Председателем этой творческой организации, ставшей самой массовой в стране, был Александр Владимирович Григорьев. В члены АХРР был принят и Борис Яковлев.

Распахнулись двери нового здания театра, специально построенного по авторскому проекту Георгия Янушевича Гвоздецкого, уникально образованного человека, чья судьба трагически оборвалась в конце 30-х годов. Это театральное здание на берегу Кокшаги, в центре старой Йошкар-Олы, объединило творческие силы города. Здесь проходили все городские и областные торжественные мероприятия, свои и гастрольные спектакли. Артисты марийской драмы и русского театра обрели, наконец, свои стены. *«Белоснежной шатровой крышей и такими же белыми стенами оно напоминало старинный корабль, плывущий по реке»*, — такой поэтический образ запомнил талантливый марийский учёный-энциклопедист Ким Кириллович Васин.

Здесь художники, члены профессионального товарищества «Марихудожник», в т.ч. и Борис Яковлев, экспонировали свои произведения на отчётных и персональных художественных выставках.

Документально-содержательный ракурс времени начала 1920-х годов помогают уточнить личные документы, справки и удостоверения Бориса Алексеевича Яковлева, сохранившиеся и в семье, и в музейных архивах. Без преувеличения, каждый документ, подобно увеличительному стеклу, позволяет осмыслить минувший век...

Вот один из документального множества:

«Р.С.Ф.С.Р. Краснококшайская Советская школа 2 ступени 1 сентября 1920 г. №349 г. Краснококшайск Крас.уезд, Казанской губ.

Удостоверение.

Настоящим удостоверяется, что предъявитель сего, ЯКОВЛЕВ БОРИС, в 1919-20 учебном году обучался во второй группе Краснококшайской школы 2-й ступени и выбыл из школы 1 сентября с/г. для поступления в художественную школу.».

Отважившись на учёбу в Москве, молодой Борис Яковлев оставляет родной город и, сдав экзамены в престижный художественный институт – знаменитый ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, вступает в московскую жизнь.

В те годы здесь преподавали талантливые педагоги, выдающиеся профессора. Студенты впитывали лекции знаменитого Павла Александровича Флоренского. Известный богослов и философ отец Павел (1882–1937), он же — искусствовед и литературовед, математик и физик. Он же оказал в свое время значительное влияние на творчество М. А. Булгакова, автора романа «Мастер и Маргарита».

К индивидуальности своего студента из марийской провинции внимательно, не посягая на выбор учеником собственного пути в искусстве, относился профессор знаменитого вуза Д. Н. Кардовский, в 1923–1926 гг. ректор этого института. Сознательно акцентирую информационность ситуации, напоминая о товарищеской долгой дружбе

Дмитрия Николаевича Кардовского и его семьи с Александром Владимировичем Григорьевым.

Известно, что документы беспристрастно фиксируют время, сохраняя подлинность артефакта. Так, Удостоверением Народного Комиссариата по делам национальностей за № 4553 от 20 апреля 1921 г. подтверждается, что:

«Предъявитель сего студент Высших Государственных художественных мастерских тов. Яковлев Б. А. командируется в г. Краснококшайск для выполнения работ по составлению и исполнению диаграмм, картографий, плакатов и прочее, характеризующих состояние советской работы в Маробласти для представления указанных работ на выставку, имеющую быть во время 3-го конгресса Коминтерна к 1 июня. Ввиду срочности поручения просьба ко всем советским организациям /железно-дорожным администрациям, администрациям Речного Флота, Волисполкомам и пр/ оказывать т. ЯКОВЛЕВУ всяческое содействие.».

Всматриваясь и вчитываясь в документы 20-х годов, без которых передвижение по стране было практически невозможным, особенно остро осознаёшь эпоху. Все документы ещё и ещё раз подчёркивают характер и образ социально-политических преобразований Страны Советов. Отношение власти к молодому художнику оставалось серьёзным и уважительным:

«ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подотдел Профобраз. 20 января 1922 г. № 359 *Без визы Отуправа и Чека недействительно. Действительно на 1 мая. УДОСТОВЕРЕНИЕ.*

Предъявитель сего Яковлев Борис Алексеевич действительно Обпрофобком командируется на рабочий факультет при Хутемас в г. Москву для продолжения образования. Обпрофобр просит все Советские учреждения, Волостные и Сельские Советы оказывать т. Яковлеву всестороннее содействие в подаче подвод и билетов по железной дороге по пути следования, что и удостоверяется подписями с приложением печати.».

В многочисленно сохранившейся коллекции документов отобразился реальный образ времени советской России. Так, на одном из институтских бланков, удостоверяющих предъявителя, подписанном ректором В. А. Фаворским, появился известный девиз: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Профессиональная ориентация молодого студента зависела от педагога и его художественной системы. Личный выбор студента Бориса Яковлева определился не в формальных поисках, хотя были и искушения, но он убедился в необходимости системного освоения ре-

алистической формы. И в октябре 1925 года студент обратился с заявлением о переводе из учебной группы, руководимой А. В. Шевченко, на курс Д. Н. Кардовского:

«Декану живописного факультета от студента IV курса маст. Шевченко Яковлева Бориса. В настоящее время, работая в мастерской А. В. Шевченко, желаю теперь работать в мастерской Кардовского. Считая свою малоподготовленность и не имея возможности продолжать в дальнейшем какие-либо формальные дисциплины, не получив строгого фундамента, я испытываю свою безграмотность и потери энергии работать, что не было до сего времени. Меня вплотную заставило встать на шкалу весов и анализировать путь, по которому я должен идти и выйти в жизнь, а потому прошу разрешения и Вашего содействия на переход в мастерскую Кардовского».

Признанная убедительной мотивация была принята, и на студенческом заявлении, по диагонали страницы, рукой профессора Дмитрия Николаевича Кардовского утверждено решение о переводе студента в его мастерскую с 15 октября 1925 года. Ректор Владимир Андреевич Фаворский подписал студенту Борису Яковлеву весьма значимый документ для оформления отсрочки призыва в армию.

И ещё ряд принципиально значимых документов, подтверждающих уровень профессиональной вузовской подготовки. Приведу основные:

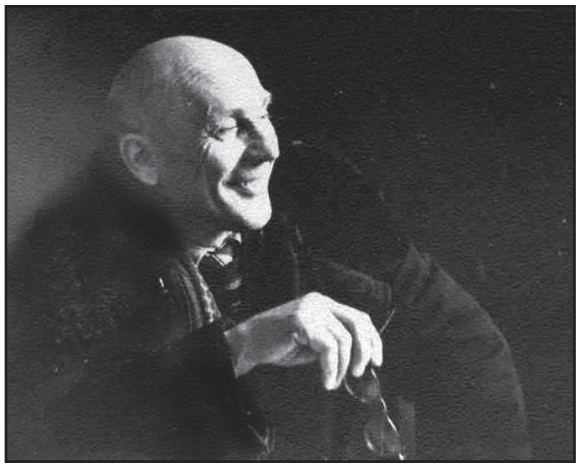
«12/VIII–30 г. СПРАВКА Гр. Яковлев Б. А. окончил в 1929 г. Живописный факультет Московского Государственного Высшего Художественно-технического Института с присвоением звания художника /основание: протокол заседания Государственной Квалификационной Комиссии от 15-го ноября 1929 г.

Выдана для предъявления в Краснопресненскую Районную Приемную Комиссию.».

И наконец, документы о завершении обучения:

От 15. IX. 1928 г.

«СПРАВКА дана Московским Государственным Высшим Художественно-Техническим Институтом Яковлеву Борису Алексеевичу в том, что он в 1927-1928 уч. году признан окончившим специальную мастерскую Станкового отделения Живописного факультета и допущен к исполнению работы.».

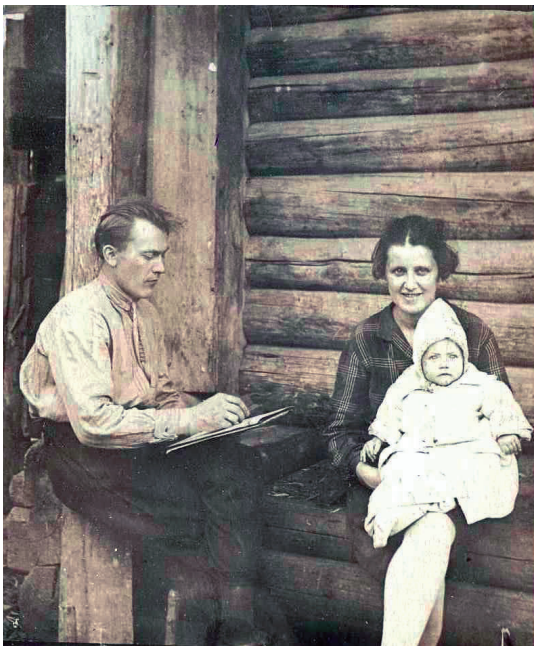


Борис Яковлев в 1960-е ...

... и в начале 1920-х гг.

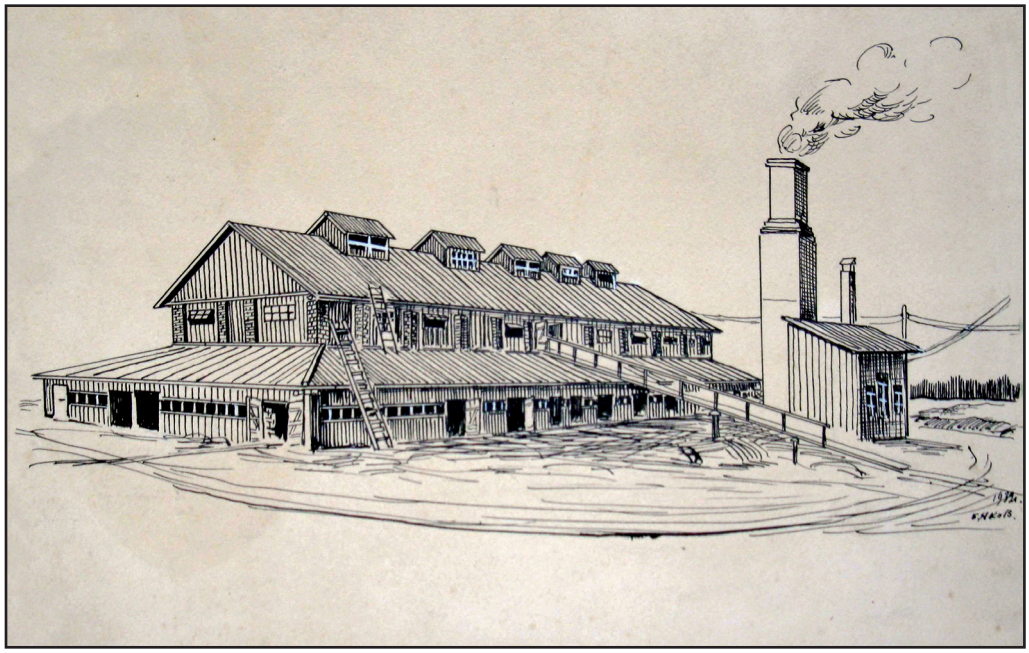
Профессор Д. Н. Кардовский (в центре) со студентами.
Б. Яковлев – второй справа в нижнем ряду.

Автопортрет.

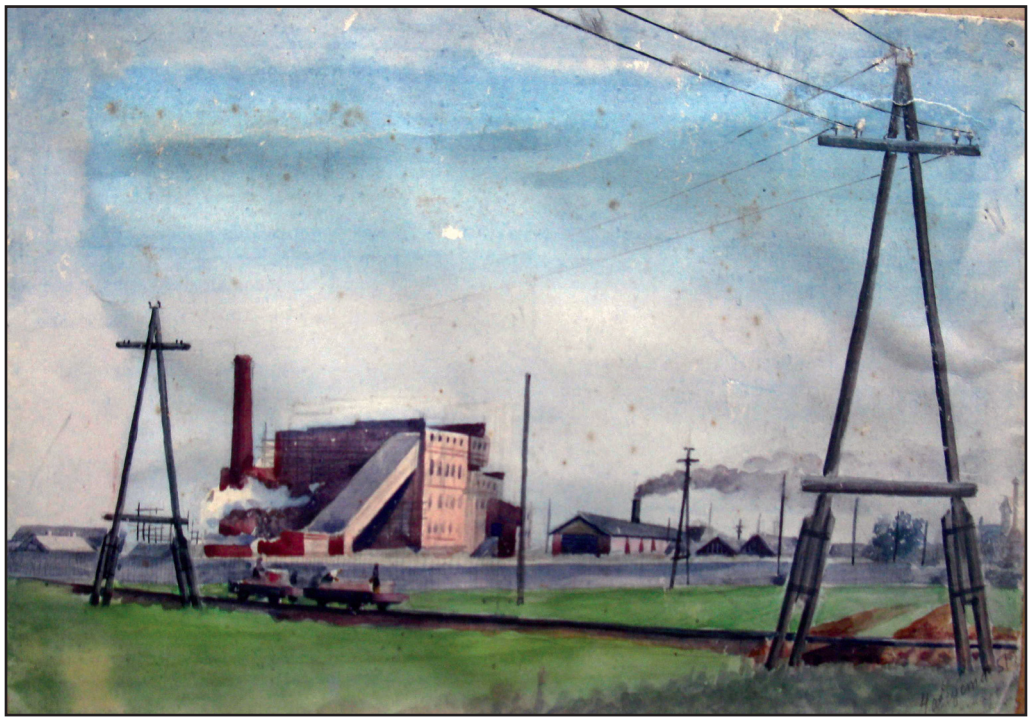


С семьёй у своего дома.

Здание Маргостеатра в Йошкар-Оле.



Б. Яковлев. Элеватор. Начало 1930-х гг.



Б. Яковлев. Электростанция. Начало 1930-х гг.

Марийские художники в мастерской. Начало 1950-х гг.

Б. Яковлев (второй слева) с группой преподавателей средней женской школы № 10 г. Йошкар-Олы.

От 12. VIII. 1930 г.

«СПРАВКА. Гр. Яковлев, Б.А. окончил в 1929 г. Живописный факультет Московского Государственного Высшего Художественно-Технического Института с присвоением звания художника /основание: протокол заседания Государственной Квалификационной Комиссии от 15-го ноября 1929 г. Выдана для предъявления в Краснопресненскую Районную Приемную Комиссию. ».

Мною сознательно акцентирован документальный ракурс темы о специальном художественном образовании только по той причине, чтобы не продолжались искажения в искусствоведческих публикациях, подобно той, что случилась в книге «Художники Марийской АССР» Г. И. Прокушева, изданной в Ленинграде в 1982 году, где в биографических сведениях о художниках автор «сообщил» о Яковлеве так: *«Специального образования не получил...»*.

Московский период художника наполнен не только историческими метаморфозами, которые переживала вся советская Россия. Здесь началось формирование молодого художника и как личности, социально и нравственно ответственной за «зеркало времени».

Ранние, 1923 года, карандашные автопортреты Бориса Яковлева и ряд композиционных листов решены в стилистике А.В. Шевченко. В этом ряду и «Автопортрет», и композиция «Московский извозчик» /б., кар. 1923 г./. Влияние художественной системы Шевченко-преподавателя сохранилось и в групповой композиции 1925 года, созданной в Маробласти. Но, повторимся, молодого студента более привлекла художественная педагогика Дмитрия Николаевича Кардовского, воспитанного Школой Ашбе, и Яковлев пожелал продолжить обучение в классах Кардовского.

По возвращении домой, в Йошкар-Олу, художник рисует много, интенсивно. В 1932 году он фиксирует такие сюжеты, как «Предместье Йошкар-Олы», «Элеватор» или изжитые временем разрушающиеся дома, как в графической композиции с натуры «Дом Морозовой, 1934». Или при обращении к портретному жанру, как, например, в рисунке «Тяпин Иван Степанович, начальник станции, 1930-е гг.».

Альбомные рисунки, зарисовки, наброски 1930-х годов столь многочисленны и разнохарактерны, что составили уникальную портретную галерею современников художника, целеустремления которых не всегда отличались лиризмом и оптимизмом. И всё-таки скрытая психологическая тональность творчества Бориса Алексеевича Яковлева не превратилась в плакатное марширование его образов. Студенческие искушения остались в том, московском, времени...

С художническим интересом ездит в районы, фиксирует приметы колхозной жизни, как в рисунках «Вид села Новый Торъял», 1932 г. и «Новый Торъял, Вододействующая мельница», 1932 г.

Его графика на актуальные темы социалистической поры охотно публикуется в журнале «У вий».

Где бы ни оказывался художник, он всегда готов к общению, узнаванию характеров интересных ему людей. Фиксируя портретное многообразие, Яковлев непременно персонифицирует, подписывая каждый: «Мозолин А. Г.», «А. И. Тяпин», «В. Сухов», «П. М. Касатмина», «М. Кочетов». Как правило, образы портретируемых исполнены достоинства и всегда характерны.

Чаще всего портреты выполнены в карандашной технике, которой он владел еще со времени московского студенчества. Один из портретных рисунков особенно, на мой взгляд, отображает характер Времени: это портрет Степана Александровича Коробова. Автор лаконично подписал: «Директор пединститута». Но как ярко вспыхнул в этом портрете цвет лазоревой синевы глаз!

Именно цветом активизирует образ, его характер, находит каждому именно тот цвет, который составляет конкретную сущность каждого. Художник, искренне очарованный своими моделями, стремится сохранить всегда отличавшее его чувство гражданского достоинства.

Самой послушной моделью для всматривания и проникновения в суть образа был сам художник. Сохранившиеся автопортреты – тому свидетельство. Казалось бы, владея техникой фотографии, о чём свидетельствуют семейные фотоальбомы, Борис Алексеевич Яковлев мог бы оставаться довольным собой. Нет же! Именно в живописи и графике раскрывается Яковлев-художник, в т.ч. в любимой им технике сангины. Чем привлекательна эта техника? В ней художник умел найти, выразить теплоту материальности, реальности жизни. Он умел радоваться и восторгаться жизнью!.. Равно как и природным миром цветов, которые в изобилии господствовали в их домашнем саду на Ремзаводе.

В какой бы технике ни были написаны натюрморты Бориса Яковлева, они никогда не повторялись ни в композиционном, ни в цветовом решениях. Общение с природой отражало богатство художнического сердца, щедрость его душевной отдачи. Яковлевские пейзажные этюды «запомнили» давно исчезнувшие сокровенные уголки природы края. Они написаны бесхитростной кистью человека, увлечённого гармонией и покоем природных ландшафтов.

Как-то на мой вопрос о марийском художнике Константине Фёдоровиче Егорове (1987 -1937) Борис Алексеевич Яковлев ответил так: *«Егоров работал в средней школе города, а я на рабфаке при педагогическом институте... Знаю, что Егоров пользовался большим авторитетом. Иногда я участвовал вместе с Егоровым в работе по праздничному оформлению города. При этом Егоров всегда работал как старший бригады художников и к порученной работе относился творчески, добросовестно».*

Праздничное оформление города в 1935 году было поручено Борису Алексеевичу Яковлеву. В тот период он был в составе товарищества «Марихудожник». В оформлении городских массовых праздников были задействованы практически все творческие силы города.

В 1941 году в здании Маргостеатра, что на берегу Кокшаги, состоялось открытие художественной выставки, в которой участвовали все художники. Здесь экспонировались и работы художника и педагога Б. А. Яковлева, о чём свидетельствует сохранившийся наградной документ: *«За активное участие в художественной выставке 1941 года награждается Грамотой Марийского республиканского комитета профсоюза начальной и средней школы»*.

Вскоре художник был призван на фронт. По возвращении в послевоенную родную Йошкар-Олу он работал в Доме пионеров, школах, преподавал черчение и рисование. И всегда с гордостью вспоминал о своих воспитанниках...

P.S. Все материалы находятся в музейных фондах Национального музея им. Евсеева, Музея города Йошкар-Олы и в домашнем архиве дочери художника.

Александр Коковихин

Анатолий Скала

Александра Карпова

Лев Ятманов

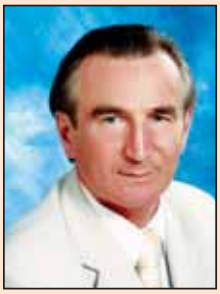
Алевтина Сагирова

ЛИТЕРА
1/2012

Игорь Карпов

Геннадий Смирнов

Александр Липатов


Анатолий Подольский

Сергей Стариков

Екатерина Уланова

Сергей Шелепов

Людмила Кувшинская

Вячеслав Попов